

**ВЕЧНОЕ  
ВОЗВРАЩЕНИЕ  
I**

**ПОВЕСТИ**

**Сборник**  
**Людмила Толич**  
**Михаил Юрьевич Литов**  
**Вечное возвращение.**  
**Книга 1: Повести**

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=24391358](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24391358)*

*Вечное возвращение. Книга 1: Повести / сост. Михаил Литов, Людмила  
Толич.: Знак; Москва; 2016  
ISBN 978-5-9551-0763-9*

### **Аннотация**

«Вечное возвращение. Повести» – сборник знаковых произведений талантливых писателей 20-30-х годов XX века, незаслуженно забытых и практически не публикуемых современными издателями. Целью выхода в свет этой книги является популяризация произведений русских прозаиков классической литературной школы, знакомство с которой особенно полезно при нынешней вакханалии литературных авантюрных проектов.

# Содержание

К читателям!	4
Вступление	6
Петр Слетов	18
Свобода движения	18
Смелый аргонавт	28
Сергей Семенов	88
Голод	89
Конец ознакомительного фрагмента.	201

# **Вечное возвращение.**

## **Книга 1**

**Михаил Литов,  
Людмила Толич**

### **К читателям!**

Перед вами повести Забытых писателей. Не простое, не легкое время досталось авторам этой книги... Трагичны и судьбы наших собратьев по перу начала XX века. Призвание и талант не гарантируют никому блистательных успехов и лавровых венков. Зато наверняка обеспечат смятение душ и боль сердечную.

Они были правдивы и хорошо образованы. Они бились по обе стороны баррикад: «За царя и Отечество!» и «За власть Советов!». Одних расстреляли, другие умерли в тифозных бараках, погибли от голода, не многие пережили жуткое лихолетье и были обласканы властью Советов.

И те и другие писали свои книги на «разрыв аорты», а иначе – какой смысл вообще громоздить слова, прилепляя их одно к другому с завидным усердием?

Нынешний труд составителей сборника произведений За-

бытых писателей обращен в равной мере к тем, кто любит читать, и к тем, кто пишет... Ведь те, кто «призваны», кому даровано Призвание – в ответе за бесценный дар Божий...

Поистине, наши Забытые «возвращенцы» и век спустя послужат достойным образцом виртуозного владения бесценным русским словом и страстной любви к мучительному литературному творчеству.

Да, «Времена не выбирают, в них живут и умирают...»

*Март, 2016*

# Вступление

## Из книги «Заметки читателя»<sup>1</sup>

Раздумывая о странностях своего пристрастия к книгам и пытаясь создать некую личную, во всяком случае оправдывающую мои наклонности и даже придающую им силу, философию читателя (а потребность в ней ужасно назрела, если принять во внимание, что я зачитался уже до изумления и никакого разумного выхода, кроме как отправиться к праотцам, из этого заколдованного круга не видится), не могу не вспоминать одного человека, пожелавшего разъяснить мне, что бессмертие души, бесконечность пространства, вечность – все это глупые выдумки, химеры ограниченных умов и пугливых душ.

– А правда, – крикнул он, – в бесконечном творческом самосозидании Вселенной, и люди, сумевшие включиться в великий процесс космического строительства, космического искусства, проживают жизни, переходя со ступени на ступень и приближаясь к совершенству, до тех пор, пока хватает у них творческой силы.

Сам он, этот человек, много пишет о подобного рода со-

---

<sup>1</sup> «Заметки читателя» Михаил Юрьевич Литов вдумчиво и терпеливо писал на рубеже столетий – с этой удобной позиции бросал прощальные взгляды на прошлые века и осторожно присматривался к наступающему, XXI-му. (ред.)

зидателях, в особенности о представителях русского космизма, а все это для нас уже тени прошлого, и он хотел бы открыто описывать их нынешнее положение, но сомневается, будет ли это научно в глазах непосвященных.

Поразительное происшествие заставило его от смутных подозрений перейти к знанию о существовании более высоких, чем наш, миров, и состояло оно в следующем. Взяв в редакции свежий номер выпущенного в свет журнала с его статьей об одном замечательном провинциальном философе и мечтателе, он лег дома на диван и, чего обычно не делал, прочитал всю эту статью от корки до корки, прочитал с несколько неожиданным для него волнением, как будто что-то новое и потрясающее, а только закончил чтение – философ уже тут как тут и хотя ничего не говорит, никак даже не материализовавшись, а сообщается все же, присутствует, смотрит проникновенным взглядом.

И сейчас, когда он пересказывал мне этот случай, дрожь пробежала по телу моего приятеля, и чуть ли не встали дыбом его волосы, но это не помешало ему с какой-то практичностью оговорить, что мне, например, нечего рассчитывать как-то здесь присоседиться, тоже пристроиться. Каждому, известное дело, свое, каждый получает после смерти то, что заслужил при жизни, каждый сам строит свое загробное будущее; а иной не получает ничего. На иную жизнь нет отклика ни в одном из уголков бесконечного созидания, и для человека, прожившего впустую, смерть означает не что иное,

как бесследное исчезновение.

Я же хочу сказать о том, что маленькая и отрадная вера рассказчика имела все основания стать благостной и исполненной умиления, но он словно немножко помешался, овладев ею, и потому она стала болезненной, резкой и неприятной. А поскольку при этом осталась все равно маленькой, то приняла вид какого-то несчастного и глупого наваждения.

Мой приятель больше не смог просто жить и работать, он теперь уже примеряется, пристрастно, едва ли не придирчиво выбирает, о ком бы написать, чтобы впоследствии встретиться и сотрудничать с удобным ему человеком, а не с тем, с кем возможны недоразумения и сложности. А зачем он рассказал мне свою историю, эту историю своего открытия, не могущего не быть сомнительным в моих глазах? Захотел похвастать, обескуражить меня, поделиться новостью, что у него все хорошо, что он отлично и с завидной ловкостью устроил свое будущее? Но я-то вижу что у него как раз все очень даже нехорошо.

Прежде он, касаясь круга вопросов, и для меня не безразличных, т. е. вопросов литературных, рассуждал вполне здраво.

– Странная выходит штука, – говаривал, бывало, он, – многотысячными тиражами некогда издавали Владимира Козина, а теперь его книги словно корова языком слизала, разве что в специализированных библиотеках сыщешь; или, к примеру, вполне прилично издали в последнее вре-

мя Алексея Скалдина, Николая Никандрова, а эффект почти нулевой.

Он задавался резонным вопросом: почему выходит такая странность? Почему на людей не производит впечатления явление даже и великой книги? Творческий человек, предполагаем мы, действительно должен мучиться, но у моего приятеля, скрывать нечего, мучение нынче сделалось бесплодным и лишним, бесполезным, и совершенно не понять, почему так.

Раньше он поднимался даже до глубокого, философского, прямо настраивавшего на самопознание вопроса о тайне, заключенной в нем, беспокоился, что в нем за подкладка и начинка такая, что он, не в пример большинству, интересуется всеми этими старыми книжками и, может быть, уже основательно подзабытыми идеями, ночей не спит из-за давно умерших людей, все думает, как бы сделать так, чтобы след, оставленный ими, не остался незамеченным?

Откуда это взялось? Свалилось на него откуда-то или само в нем развилось? Но сейчас впору спросить: куда все это подевалось? В нынешнее время он, нахмутив брови, сосредоточенно перебирает книжки, перебирает имена, сортирует людей и не радуется открытию, а дотошно соображает, достойно ли это, открытое им, наличия, присутствия в его будущем сверхъестественном бытии.

Человек жаждет совершенства, как он его понимает, а оно невозможно, и в результате человек уединено мучается в тес-

ном мире своих переживаний, своих истерических мечтаний о несбыточном. И это не случайное замечание.

У меня есть своя трепетная, навязчивая, почти что парадоксальная думка, имеется свое индивидуальное мучение. Оно о забытых и полузабытых писателях, о задвинутых в тень или неверно, на мой взгляд, истолкованных книгах. Ну, неверно! – как это может быть? Среди массы истолкований всегда найдется удовлетворительное, лучшее, вполне верное, даже по-своему окончательное. Я выражаю лишь надежду высказать о некоторых книжках не то чтобы нечто совершенно новое и оригинальное, а свое, личное, выделить в них что-то особенно поразившее мое воображение.

Меня почти оставило вымышленное мучение, причиной которого было часто возникающее у прирожденных читателей желание и самому написать какой-нибудь гениальный роман, зато будоражит – и это происходит все чаще, – опрокидывает в некую лихорадку мысль, что я будто бы должен непременно дописать, составить книгу об этих самых несчастных, позабытых, перевернутых писателях.

А я ее, можно сказать, давно пишу, все как-то на нее сворачиваю от дел, кажущихся главными, хотя едва ли понимаю, что речь идет о книге и что из всего уже приготовленного действительно можно составить цельный труд. Но как, собственно, это возможно понять? И о каком цельном труде допустимо говорить? Вопросам противостоят вопросы. Цельность? Что это такое?

Или, скажем, опять же вопрос о забытых или неверно истолкованных писателях. Разве не причиной и тут несовершенство мира? Будь мир устроен совершенно, в нем не забывалось бы и не перевиралось хорошее, и я бы не страдал. Но могло ли быть иначе, не так, как есть? Разве не закрадывается тут опасливое подозрение, что когда б мир был устроен совершенным, не было бы и никакой литературы, не возникло бы потребности в ней? А если вдруг так – то для чего же и жить?

Нет, положительно, существовать в условиях Эдема мир абсолютно не в состоянии. Не случайно же ангел света заскучал, взревновал, заозирался, преисполнился нечистотами, был низвергнут и превратился в ангела тьмы. Рядом с необходимостью доброго ощущается равноправная необходимость злого. И это говорит что-то о правоте манихеев.

А рядом с мукой стоит смерть. Она выжидает, подстерегает и если прячется, то не далеко. Так и просится на язык вопрос: да что же вы тоскуете и мечетесь, если неизбежно помрете и вам будет все равно? Или это смерть вас подстегивает, подзуживает, пугает? Если бы я не знал, что меня, в конечном счете, закопают в землю и мне будет все равно, о! сколько бы я всего искреннего и глубокого порассказал о тоске человеческой, хотя бы даже и о собственной.

Ведь на что-то даны мне голова и душа, и надо оправдывать предназначение, отрабатывать дар. Даже приходит сразу мысль, что одна лишь голова, без души, мало на что го-

дится... Наносят, к примеру, на холст мазок, а в нем заключено разве что одно обдуманное понятие; тотчас говорят со стороны, что обдуманно не вполне точно и надо немножко переиначить... и в результате ни у кого не получается заполненного холста.

Когда мыслитель и мастер стоял на почве, неполноты быть не могло. Получался заполненный холст даже в случаях слабого и незначительного творчества.

Это соображение о почве наводит на другое соображение, на мысль, что талант дается свыше, как и голова с душой, и человек одаренный это особенно, наверное, понимает в минуты кризиса, когда у него словно все отнимается и он чувствует себя бесконечно жалким, беспомощным и обреченным.

Пораздумав обо всех этих вещах, невольно вскидываешь задумчивый взгляд к небесам. Но вот у меня голова и душа, а я, отскакав и отмучившись некий срок, вдруг перестаю что-либо чувствовать и сознавать – это как же? Зачем? На то лишь дарованы, чтобы я донес их до могилы, где уже ничего не будет? Тем не менее я, сознавая, что со временем перестану что-либо сознавать, продолжаю страдать, тянуть ляжку, вытягивать некую свою специальную песнь. И что же это сделало меня таким, какая сила, какие законы? Или, может быть, кто-то сознательно задумал меня именно таким, создал по своему специальному проекту, заложил в меня некую умышленную цель? Да не страдает ли Он теперь

оттого, что я ничего не ведаю о Его замысле на мой счет и все мои попытки узнать заведомо обречены на провал?

Забытым нами писателям уже давно безразлично, помнят о них или нет. Ну, представьте себе, даже не тем только из них это безразлично, кто благополучно скончался в своей постели в полной уверенности, что прославил свое имя на века, но и тем, кого лишили жизни насильственно, расстреляли или, может быть, затравили до смерти своими идеологическими выкладками. А мы тут, пока живы, прикладываем палец ко лбу, размышляя о них, сокрушаемся, восклицаем: как же так? почему?

С другой стороны, возможно, что я в этом гуманном, едва ли не восходящем к общечеловеческим ценностям сокрушении дохожу до какой-то личной откровенности, предположим, даже до пароксизма, выкидывающего меня из общего ряда, а где-то уже сидит человек, снисходительно усмехается, ибо он всезнающий специалист или вообще таинственный господин, который все знает вместо всех, чего уже и достаточно. Перед ним мое волнение даже в крошечном и приличном виде выглядит глупо и неуместно, тем более, что он не только знает о забытых, но и знает, что его знание спокойно, величаво и простирается куда-то далеко за границы как бы недоступного мне понимания причин, по которым одних забывают, а других помнят и славят.

Никому не удастся жить не так, как он уже живет, и все рассказы о радикальных переменах участи – сказки, заигры-

вание с судьбой. Один не знает, что есть какие-то забытые писатели, и если мучается, то совсем не из-за этого своего незнания, а другой знает и мучается из-за этого, хотя вполне мог бы найти себе и другой предлог для мучений. Третий вообще вроде бы никак не страдает, но все равно помрет, и если принять во внимание, что его, глядишь, черти в аду обрекут на вечные муки, то повод для беспокойства у него, как ни верти, есть и при жизни.

Нет, что ни говорите, а эта жизнь разнообразна, даже чересчур, зато вот мир, который, может быть, действительно есть лишь наше представление о нем, наоборот, совсем не разнообразен, ибо он – сплошной повод для беспокойства, неудовольствия, раздражения, тоски. И выкрутиться, вынырнуть из этого, раз уж тебе даны голова и душа, совершенно невозможно.

Я, например, хотел бы узнать обо всех несправедливо забытых писателях, всех их прочитать, а разве это возможно? Тоже повод для досады. А как приходится досадовать, когда мою уверенность, что те или иные вполне известные произведения я понял в чем-то лучше, чем даже некоторые маститые критики, разъедает сомнение: да полно, так ли?! Мне, скажем, хочется говорить о литературных процессах с полным и непоколебимым осознанием себя как литературоведа, но какой же из меня литературовед? Опять нехорошо. Если еще вспомнить, что нынче у всякого обозревателя проблем более или менее научного характера примечаний к ста-

ть больше самой статьи, а я к своим заметкам за всю жизнь так и не придумал ни одного, то, ясное дело, от всех попутно возникающих негативных эмоций голова пойдет кругом. А жить надо. И мучиться своей думкой тоже надо.

Все это, что я здесь скороговоркой выкладываю, когда-нибудь еще пригодится, еще вольется должным образом в полноту моего умозаключения, что в нашем мире, где не бывает ничего абсолютного, порядок весьма условен и слишком много неразберихи и шатания, все же возможны некие относительные истины.

Разве не истинно, когда мы, ощущая наступающий со всех сторон хаос, не отшатываемся, не круглим в бессмысленном ужасе глаза, а с известной долей мужества, с определенным достоинством продолжаем нашу человеческую игру, держим нашу человеческую форму? Да и самый, скажем, голос литературы, Бог весть зачем испускаемый в неведомое, в пустоту, разве не обретает хоть сколько-то истинности, когда его слышат окружающие, некие ближние, которые, задумчиво склонив голову, минуту-другую красноречиво соображают: ага, вот оно что, а я-то думал...

Но это предварительные замечания, а в каком-то смысле и вводные, на самом же деле мне сейчас следует открыто признать то, в чем я сам уже куда как точно определился: да, неполной будет моя книжка, не удовлетворит она вполне необходимости воссоздания литературы и потребности в неких ориентирах, несомненно ощущаемой читательскими

массами, и не обогатится она никогда подробными примечаниями и сносками. И сразу тревожит вопрос: а почему так?

Впрочем, обобщая сказанное, считаю нужным высказаться в том смысле, что я, как ни крути, исповедую государственный интерес. Государство, как все мы имели случай заметить, не проводит политику внедрения в сознание масс замечательных книг, имен, которыми нам пристало гордиться; государство не создает издательств, т. е. просто даже одного издательства, которое бы одну за другой выпускало, по четкому плану, книги, так сказать, нуждающихся в возрождении авторов, сопровождая их пространными сведениями биографического порядка, примечаниями к тексту, подробными, чуть ли не научными комментариями и т. д.

Но государство как таковое, собственно, даже как-то и не обязано знать об этих писателях и книгах. Оно фактически ничего не может знать о них. Вышла бы странная штука: общество забыло, а государство каким-то образом помнит, знает. Как бы это могло случиться? Это было бы уже не государство, а прямо Господь Бог.

Но если я задумал напомнить государству о славных деятелях прошлого и устроить, по мере возможности, так, чтобы в государстве, а не в одной только пресловутой истории литературы, было побольше литературных знаменитостей на слуху, оно имеет все основания взглянуть на меня благосклонно. И это заведомо приятно.

Раньше я, неумный читатель, не очень-то хорошо пред-

ставлял себе, куда мне в нашей современности приткнуться с этим моим чтением и каково, собственно, его общественное, гражданское значение, теперь же, готовясь стать не просто потребителем книг, а в некотором смысле идеологом чтения, агитатором, я, по первым впечатлениям, вправе не без оптимизма смотреть в будущее.

*Михаил Литов*

# Петр Слетов

## Свобода движения

### Из книги «Заметки читателя»

Петр Владимирович Слетов (1897–1981) прожил долгую жизнь, отданную, прежде всего, писательскому труду, а список его в разное время циркулировавших по печати произведений, если судить по скупым сообщениям энциклопедических словарей и литературных энциклопедий, отнюдь не поражает размахом. Впервые отметившись в ней в 1919 году, он затем сотрудничал с журналами «Литературная учеба», «Колхозник», «Наши достижения». В серии «Жизнь замечательных людей» помещена им книга о Д. И. Менделееве. Критики заметили писателя лишь после выхода в свет в 1928 году его посвященной событиям гражданской войны повести «Прорыв», о главном герое которой, Стомарове, сам автор впоследствии писал: «Его поведение и поступки – определенно бесчестные – результат своекорыстно-индивидуалистической идеологии, и бесславный конец физической его личности совершенно недвусмысленно толкует идею проблемы бонапартизма».

1958 год отмечен для Слетова публикацией его книги

«Шаги времени», а 1977-й – сборника «Заштатная республика», состоявшего из повестей «Смелый аргонавт» и «Мастерство», а также давшего название сборнику романа, – все эти творения выходили одно за другим еще в 20-е годы прошлого столетия и вызвали у тогдашней критики немало полемических замечаний.

Автор предисловия к этому изданию Г. Белая постоянно извлекает цитаты из рукописных материалов писателя, и их обилие наводит на соображение, что в архиве Слетова много оставшегося не востребованным его временем, а еще менее нашим, и тем обеспечена немалая работа будущим исследователям. Приводит Г. Белая среди прочих и такое высказывание: «В то время как имущество наследуется согласно закону или завещанию, культурное наследование происходит по свободному выбору потомками своих предков. Воля вольная принадлежит каждому – избрать ли своим идейным предком монаха, тюремщика или борца за свободу, воина за благо народное. В выборе себе предков постигается... культура...»

Истина как будто очевидная, даже прописная. Но если принять во внимание, что во времена Петра Владимировича выбор предков и наследование им безопаснее всего было производить согласно законам партии и завещанию ее творцов, то невольно напрашивается вывод, что законспирированная в архивах мысль выдает в нашем писателе «культурно несогласного».

Результаты «свокорыстно-индивидуалистической идеологии» видны в поведении многих героев Слетова. В коммунистах города Белоспасска из романа «Заштатная республика» они выразились в довольно-таки комическом виде: эти коммунисты, проворовавшись, спившись и прозаседавшись, решили для покрытия своих грешков объявить подчиненную им округу независимой республикой, в чем мы вправе усмотреть интуитивно выявленную автором и вполне понятную нам причину последующего краха всего российского коммунизма. Впрочем, если уж судить с позиций нашего времени, удивительна не та богатырская легкость, с какой праведный комиссар, явившись в Белоспасск в финале романа, силами небольшого отряда разгоняет предателей народного дела и наводит порядок, а тот факт, что этот роман, многие страницы которого указывают и на сатирический дар Слетова, и на его знание психологии, и на более чем значительное художественное мастерство, так и остался вне поля читательского внимания.

Петр Владимирович Кудрявцев (такова его настоящая фамилия) родился в городе Влоцлавске Варшавской губернии, входившей в состав Российской империи. Его отец свои народнические чаяния и мечтания укреплял в себе, а по мере возможности и в других, частым повторением афоризма Менделеева: «Ученье – себе, плод ученья – людям». Будущему писателю довелось слушать лекции по философии С. Л. Франка – сначала в Петроградском политехникуме, а за-

тем и в Саратовском университете, где они оба оказались в 1918 году. После службы в Красной армии – служил ей и оружием, и пером, в газете «Красноармеец», – Петр Владимирович поступил в Московский университет и изучал в его стенах литературу по Валерию Брюсову, а психологию – по профессору Челпанову.

Очевидно, лучшей по насыщенности общения и творческим свершениям порой для Слетова стало время его пребывания в «Перевале», литературной группе, существовавшей с 1924-го по 1932 год, до партийного постановления «О перестройке литературно-художественных организаций», покончившего со всеми подобными группами и вызвавшего к жизни создание единого союза писателей. «Перевальцы», не устававшие называть себя наследниками русской и мировой классической литературы, отвергали, в пределах разумного, бытовую сторону жизни, или, как говорили тогда, «бескрылый бытовизм», чтобы тем вернее и органичнее, с ни чем не замутненной искренностью обратиться к истокам подлинного искусства.

Но, как и с каких исходных позиций ни манифестируй это обращение, оно включает в себе прежде всего требование, чтобы в центре творческого созидания стояла фигура безусловно талантливого творца, Моцарта, а не примазавшегося, поднабравшегося ремесленной сноровки или классовой сознательности Сальери. Предваряя закономерный вопрос, скажем, что многие «перевальцы» совершенно несправедли-

во ныне преданы забвению и отнюдь не случайно именно к этой группе в свое время пристало немалое число писателей, чьи книги исполнены громадностью таланта и только по недоразумению могли быть задвинуты в тень нашими любителями делить писательскую братию по иерархическим рядам.

Повесть же Слетова «Мастерство», описывающая неугаемую враждебность бездарного и морально уродливого Мартино к одаренному скрипичному мастеру Луиджи, – дело происходит в Италии времен наполеоновских войн, и дело это под пером Слетова приобретает характер наследования пушкинскому взгляду на конфликт между Моцартом и Сальери, – по праву считалась многими своеобразным манифестом «Перевала». Однако для противников группы, спешащих обвинить ее в буржуазном либерализме, не только программная для «перевальцев» интерпретация Пушкиным взаимоотношений гения и посредственности, но и сам Пушкин являются чем-то далеким и ненужным, мешающим продвижению пролетариата и пролеткульта к светлому будущему.

Критик И. Гроссман-Рошин писал о поэте, на котором у нас как только не упражнялись в приписывании собственных воззрений: «Пушкин, сам представитель умирающей дворянской знати, сознает неизбежность этой смерти и понимает, что убыль исторического бытия сопровождается убылью бытия и художественно-идеологического. Линия искусства

этой знати где-то обрывается, черные тени исторического небытия грозно нависают, и Моцарт – как бы олицетворение этого заката, Сальери – как бы судорожная попытка повернуть колесо истории и отвратить грозный признак исторической смерти». И далее рубит, можно сказать, с плеча: «Моцарт разоблачен. Моцарт в историческом смысле уже только факт, но не исторический факт. Моцарт исторически уже мертвец. История вынесла ему смертный приговор. Поэтому здесь гений и убийство – вещи совместимые, ибо убить Моцарта значить только помочь истории, и тогда: «Так улетай же! Чем скорее, тем лучше!»

Поди ж ты, Гроссман-Роцин вон как ловко уселся попить на костях ушедших поколений, крепко как взялся перелопачивать муравейник истории и искусства, суд вершить, а тут является какой-то Слетов с проповедью вдохновенного творчества, с воспеванием Моцарта в обличье Лиуджи и проклятиями Сальери, узнаваемом в Мартино. На помощь собрату по критике спешит еще один мастер тогдашней словесности, А. Глаголев, заклинает неразумного писателя в необходимости «быстрейшего и отчетливого» отречения от наследства «моцартианства». Проще и решительнее решила проблему партия, провозгласившая «перестройку литературно-художественных организаций»: «Перевал» разогнали – практически по тюрьмам и ссылкам, по застенкам, откуда далеко не все вышли живыми. Петра Владимировича репрессии коснулись лишь в 1948 году. В 1956-м его реабили-

тировали.

Не беремся судить, стоит ли повесть «Смелый аргонавт» особняком в творчестве Слетова и можно ли ее причислить к творениям загадочным, главную свою правду ссылающим в междустрочье. Но что она, сюжетом прочно привязанная к событиям 1914 – 1917 годов, вместе с тем претендует на значение актуального и для нашего времени текста, не вызывает сомнений. Если в «Мастерстве» изображены тяготы и ужасы жизни талантливого человека, попавшего в зависимость от посредственности, и это тема тоже, конечно, из разряда вечных, то в «Смелом аргонавте» показан талант не обремененный, пребывающий в свободном парении. Происходит это словно бы беззаботное и несомненно мелкобуржуазное парение Димы Итякова на фоне мировой войны и двух знаменитых русских революций, – и нет ощущения, что тут в очередной раз колючим пером советского литератора бичуется проклятое прошлое. Дима уже тем любезен автору, что талантлив, хотя его талант – он с непревзойденным искусством гоняет шары в петербургской бильярдной – не самого высокого свойства.

Доморощенный философ Поливанов, вменивший себе в обязанность безмятежно наслаждаться игрой этого мастера, так объясняет искусство Димы: «Жизнь – это движение; без движения нет жизни. Старая, избитая мысль; но основных житейских истин не замечают именно потому, что они скапливаются на каждом шагу. Димочкин удар, мысль об ударе,

звон влетевшего в лузу шара – все это формы одного и того же прекрасного движения. Не облакайте его в формулу – формула нужна для машины, но негодна в жизни; она не научит ходить, а лишь отяжелит походку...» Итяков ненавидит так называемых жуков, для которых бильярд – коммерция и способ надувательства простофиль, он то и дело выступал «общим мстителем, соблазнял жука и дачей форы и крупным кушем», а затем Поливанов говорил посрамленному плуту: «Вы наказаны за грех, страшнее которого нет в жизни, – грех насилия над свободным своим движением».

Хотя философ излагает свои воззрения, главным образом, в бильярдной и касаются они игры, подразумевает он, однако, внутреннюю свободу и независимость от навязываемых миром правил проживания в нем. Удар по шару все же требует расчета, и избежать облечения его в формулу, хотя бы по видимости, можно лишь при условии достижения в игре той высокой степени искусства, на которой вся схема предстоящей партии, возникающая в голове игрока, и неизбежно образующиеся по ее ходу препятствия преодолеваются с легкостью, делающей их как бы несуществующими. А у Димы и нет другого мастерства, нет другого таланта, кроме как «свободно» решать бильярдные головоломки.

Возвещая, что «жизнь – это движение», а мир – не что иное, как цирк, Поливанов в то же время очень хорошо знает, когда ему следует остановиться, отойти в тень, затаиться. Это у него от знания людей, практически отсутствующего у

Димы, для которого игра как таковая и стала всем его содержанием. Но именно оно определяет его серьезный и острый взгляд – взгляд игрока, видящего в окружающем не мельтешение теней, а осмысленную расстановку неких сил, хотя при этом вся «внешняя» идеология Димы не поднимается выше мечтаний о рыцарских подвигах в духе романов Эмара, которые он с трепетом перечитывает.

Подчиненный, так сказать, внутреннему взору, он обречен со стороны смотреть на происходящее не только в бильярдной, но и на улицах Петербурга, а затем и Москвы, и подобная личность для твердых и уверенных в себе деятелей начавшейся революции – ничто, пустой звук, «лишний человек». Между тем «лишний человек» способен резко и неожиданно реагировать в конфликтных ситуациях и тем более в роковых обстоятельствах – именно в силу особенностей своего взгляда. Не знаем, что сказали по поводу его необыкновенной и, если уж на то пошло, незаурядной «выходки» в финале повести критики вроде Гроссмана-Рощина, полагавшие, что их, гроссманов-рощинных, революция победила навсегда, но думаем, что ничего хорошего, и вряд ли им показались убедительными вероятные ссылки автора на проблему бонапартизма и «своекорыстно-индивидуалистическую идеологию».

А между тем Дима Итяков всего лишь остался верен до конца свободе движения, и уже читателю решать, насколько он оказался прав в выборе средств для достижения своей

цели.

*Михаил Литов*

# Смелый аргонавт

Это было в городе Санкт-Петербурге.

Это было на Забалканском, в бильярдной. Бильярда было три: один похуже и два очень строгих. Сюда заходил хозяин, пан Рыбацкий, как в гости. Наведя порядки в смежном помещении – столовой-кофейне, пропустив главную массу обедающих, ущипнув два раза коленку подошедшей к кассе Ядвиги, любил он взять стакан мазаграна и, тихо посасывая соломинку, подняться на три ступеньки в бильярдную.

Войдя, раскланивался пан Рыбацкий со всеми наклонением головы и потупленным взором и перекидывался «парою слов» с посетителями, сохраняя свои обычные манеры графа в изгнании. Затем подходил к бильярду, где решал искусный маневр Дима Итяков, и всматривался минут пять в игру его партнера. Дождавшись первого неудачного удара по шару, едва не влезшему в угол, облакачивался пан Рыбацкий на борт. Затем эффектно постучав хризолитом толстого перстня по медному канту и тем стяжав общее внимание, оглядывал он победоносно всех по очереди и говорил Димочкиному партнеру:

– Да, вы сделали артистический удар. Это – удар дуэлянта шпагой в сердце. Но... – грустная улыбка, – это вам не кошелка...

Тут с достоинством, перемешав кусочки льда в студенном

кофе, отходил он и присоединялся к зрителям, кольцом наблюдавшим поучительную Димочкину игру.

На окнах висели толстые ламбрекены, контрабазуры люстр и бра бросали свой рассеянный свет в воздух, пронизанный табачным дымом и остриями бильярдных киев, скользил беззвучно маркер, собирая по лузам шары, и по временам громко выкликал:

– Шестьдесят три! В двух больших – партия...

Длились классическая пирамидка, карамболь и боте-фон.

В разные дни, разные часы меняла бильярдная свое лицо, как всякое место общественного значения. В ней меняла свое лицо большая холодная столица, кривляясь привычными гримасами. Но основной состав посетителей оставался все тем же: студенты, больше технологи, растворяли в своей среде небольшую группу знатоков и ценителей высокого класса бильярдной игры, сплоченную вокруг Димы Итякова, носившего, как и все фавориты, уменьшительное имя.

Одним заменяла бильярдная неудачную карьеру, другим – негостеприимную науку, третьим – отсутствующую или испорченную семью. Безмолвный ли уговор или святость своеобразных традиций, но личное не всплывало ни в разговорах, ни в поступках. Игра, ее содержание и логика создавали центр, вокруг которого лепились интересы, игра заслоняла все остальное, и лишь в ее плоскости ухитрялись решать вопросы искусства, философские и политические.

Так, естественно, стала бильярдная портиком греческого

храма, где жрецами были Дима Итяков и маркер Федор, учителем же философии и теоретиком – журналист Поливанов.

Аудитория завсегдатаев держала мазу за игроков, созерцала, сидя на полужестких диванчиках, и курила. А Поливанов поучал:

– О юноши, о мужи, у нас накурено, но дух витает чистый, ибо мы одни. Вы видите, боги благосклонны к нам: ни одна женщина не омрачает наших бесед под этими сводами. В многоопытной своей мудрости уважаемый хозяин наш Казимир Казимирович не допускает даже к уборке бильярдной ни Ядвиги, ни кого-либо еще из дев и жен, мало-мальски годных к ласкам и битвам Афродиты. Поистине, соблюдая свои интересы, заботится он и о наших, ибо не коснулось нас тлетворное женское дыхание. Что же касается поломойки, то злые языки говорят, что и она двухснастна...

Игроки ходили вокруг бильярдов с киями в руках, в одних жилетах. Дима Итяков играл очередную партию со случайным посетителем, привлеченным замечательной его игрой, шумела отдаленно кофейня, за окнами ночевал Санкт-Петербург. И Поливанова слушали плохо, больше следя за Димой, за каждым его ударом...

Он горбат. Это заметно не всегда, чаще кажется, что он сутул. Он движется среди игроков, он ходит вокруг бильярда с той уверенностью, с тем достоинством, с каким творят общественные обряды под десятками внимательных взглядов привычные актеры разных культов. В лице его, в глазах –

спокойное превосходство бесспорной силы, в каждом жесте – та неуловимая и постоянная находчивость, которая присуща мастеру и знатоку, а по временам далекая улыбка смущения. Длинной, прекрасной, мягкой, как у ребенка, рукой он хлопает слегка пана Рыбацкого по плечу.

– Удивительный сегодня партнер у меня, Казимир Казимирович. Он быстр, как барс, он режет невероятных шаров.

Иронически и чуть самодовольно улыбается партнер его в кителе с молоточками.

– Двенадцатого в угол направо!.. Удивительный партнер у вас, Дмитрий Алексеевич, удивительная калека. Мне нужно брать с вас не пятнадцать, а по крайней мере тридцать очков.

Дима смотрит на стол, как Ганнибал на поле при Каннах.

– Двенадцатого бросаю в тот же угол... Я отдаю вам игру этим глупым ударом, я чувствую. Но, знаете, я говорю себе: неужели...

Рука Димы делает движение, совершенное, как взмах кошачьей лапы, точное и упругое, как ход паровозного поршня. Биток летит по сукну в математическом беге, в орбите его внезапно вырастает двенадцатый шар. Удар – рождение нового для него смысла, и он мчится метеором, сверкает метеором, чтобы погаснуть со звоном в лузе. А биток, на секунду остановившись, мягко отходит назад.

– Восемь в середину...

– Это черт знает что! – возбужденно восклицает молодой студентик в кружке зрителей. – Он от борта через весь би-

льярд играл его с выходом!

– Мой дорогой молодой коллега, – отвечает ему снисходительно пан Рыбацкий, – Диме сам Левушка дает два очка, а если даст три, то Левушка пропал – пропал, говорю я вам, – и уж были примеры. Это нужно понимать...

Все это дает повод Поливанову придраться к случаю.

– Поистине, – ораторствует он, – здесь, а не в механических лабораториях видите вы храм движения в чистом его виде, где Димочка – жрец и вместе пифия, являющая нам откровения в несравненном своем искусстве. Вы видите – шаров нет. Он ищет глазами и будет играть, очевидно, девяточку, имевшую неосторожность чуть откатиться от борта. Уверен ли он, что положит? Уверена ли пифия в том, что говорит?.. Но – внимание!.. Правильно, чудесно, шар вошел, что и требовалось доказать.

Легкие аплодисменты приветствуют Димочкин удар.

– Что произошло? Каждый из вас, дорогие коллеги, мог бы с точностью формулировать явление. Частный случай молекулярной бомбардировки. Данные: масса шаров, скорость битка, направление движения и коэффициент трения. Димочка, вы, вероятно, понятия об этом не имеете?.. Но попробуйте, о юноши, о мужи, повторить вычисленный Димочкин удар – какой позор ожидает вас, какой стыд...

– Пятерку в угол, – заказывает Дима. – Удар посвящается вам, Кронид Семенович.

Поливанов слегка раскланивается и продолжает:

– Жизнь – это движение; без движения нет жизни. Старая, избитая мысль; но основных житейских истин не замечают именно потому, что они сказываются на каждом шагу. Димочкин удар, мысль об ударе, звон влетевшего в лузу шара – все это формы одного и того же прекрасного движения. Не облакайте его в формулу – формула нужна для машины, но негодна в жизни; она не научит ходить, а лишь отяжелит походку... Верно я говорю, Федор?

– Совершенно справедливо, – отвечает маркер, устанавливая новую пирамидку.

С Димой играли многие без надежды на выигрыш, с уверенностью в проигрыше, из-за одной лишь чести сыграть с ним и проверить свои силы. Так, в стены по существу демократической бильярдной на Забалканском залетали чужие птицы: гвардейцы, одетые в штатское, помещики, у себя в имении включавшие в ежедневный режим пирамидку на собственном бильярде, московские заезжие купцы.

Купцы проигрывали шумно, помногу, чтобы было о чем рассказать; гвардейцы легко и небрежно, подчас на мелок, с расплатой в двадцать четыре часа, в узкого формата конверте, присланном с лакеем в адрес Димы. Помещики – упорно и азартно.

Встретившись, впрочем, со своими партнерами на стороне – в театре, на улице или в магазине, – не мог часто Дима уловить узнающего взгляда: головы если не отворачивались, то слегка приподымались, как бы завидев что-то достойное

внимания вдали. Но здесь, войдя в бильярдную, снявши кители, сюртуки, смокинги, все сливались с общей массой игроков, подчиняясь общим законам. Все сходились в одном: уступая, быть может, знаменитому московскому Левушке в выдержке и отыгрыше, Дима, несомненно, превосходил в красоте удара, смелости игры и артистичности ее.

Расходились поздно. Часто, увлеченные затянувшейся борьбой, игроки не хотели расставаться с зеленым полем. Тогда завешивались плотно окна бильярдной, запирались двери, в подъезде гасили огни и играли с риском штрафа до утра. Под утро говаривал присяжный болтун и полуночник Поливанов:

– Вот шары остановились в доигранной партии. Момент статический. Покой, скажете вы? О мужи, покоя нет, покой – это условность, он познается, как и все, из движения... Что такое ритм? Это сходство повторных движений. Что такое статика? Это ритм, заключенный в бесконечную форму... Федор, голубчик, дай пальто!

И все расходились через черный ход. Там ждали извозчики. Поливанов, застегивая потертый бобровый воротник, одолжал у Димы полтинник и трясся на Фонтанку. Дима же – на Лиговку, задумчиво рассматривая бесконечный ряд ненужных на рассвете фонарей.

Он жил в большом доме с черными гербами и орнаментами из знамен, палашей и секир, сплетенных в спокойный

и сумрачный знак. Там, на третьем этаже, в небольшой, тесно обставленной квартире, нес он свою вторую, маленькую жизнь, никем не наблюдаемую, а потому полную противоречивых потешных вкусов и слабостей.

Все дело в том, что затянулась молодость, быть может, даже детство. Диме было под тридцать, но выглядел он мальчиком. Будь он чиновником или приказчиком, над буднями его тяготела бы служба, но он был независим даже от круга знакомых, которых в личной жизни не мог найти. Так, не имея нужды в том, чтобы о нем кто-то думал хорошо, не угнетаемый своей двусмысленной профессией, он делал то, что ему нравится, заботясь болезненно лишь об одном: уйти от всяких советов, всяких вмешательств и посягательств на свою личную жизнь.

Предлогов же к этому было множество. В нем была жилка коллекционера, он тратил большие деньги на покупку какой-нибудь редчайшей марки давно исчезнувшего государства. Прекрасные пальцы его искали пути не только к зримым движениям, но и к радости звука; он занялся музыкой, остановившись на странном инструменте – балалайке. Впрочем, возвышаясь над дилетантскими ступенями, владел он им прекрасно. В чтении резче всего проявлялся его вкус: он до сих пор читал Жюль Верна, Густава Эмара; любимейшей книгой его был Конан-Дойль, попутно, впрочем, история войн. Дима никогда ничего не писал, не имея нужды в этом, но он любил, чтобы у него на письменном столе бы-

ло все, что нужно и что совершенно ненужно. Письменный прибор его состоял из множества различных предметов: чернильницы с тремя сортами чернил, звонком для несуществующего лакея или небывалых заседаний, спичечницы, подсвечников, пресса, пепельницы, стакана для перьев, флакона с клеем, перочистки и еще каких-то совершенно неупотребляемых вещиц. В стакане был большой выбор ручек и карандашей всех цветов. В бюроаре – запас почтовой бумаги и конвертов. Настольный календарь, настольные часы, барометр, термометр – все это настолько загроужало стол, что пользоваться им для работы было бы невозможно. Все это, впрочем, ревниво поддерживалось в постоянном порядке.

Остальное убранство комнаты соответствовало столу. На полу лежали коврики – отдельно перед диваном с тумбочкой, где были туфли, и перед туалетным столиком. Деловитейший шведский шкаф с книгами, круглый полированный стол с альбомами марок стояли у одной стены. Напротив стену занимали карта всех частей света в виде полушарий и карта звездного неба – для чтения Фламариона. За ширмой над кроватью висели два скрещенных, как шашки, отделанных золотом и слоновой костью бильярдных кия. Под ними монтекристо, из которого стрелял Дима по утрам в мишени в дальнем углу комнаты. В шкафу хранились бинокль, микроскоп и кинематографический аппарат, развлекавший Диму в иные вечера.

Все это вызывало постоянное насмешливое осуждение со

стороны матери, бодрой старушки, курившей по ночам за пасьянсами, вспоминавшей свое прошлое мелкой опереточной актрисы и увлекавшейся Ибаньесом Бласко. Саркастическим взглядом осматривала она слишком солидные костюмы Димы, его трости – был целый набор тростей – и выразительно молчала. С тех пор как существование зиждилось на его выигрышах, она перестала преследовать Диму вечными замечаниями, но в душе, жалея, не считала его ни мужчиной, ни положительным человеком.

Дима и сам часто глухо чувствовал, что зрелость запоздала. Он следил за собой, стараясь прививать себе привычки, присущие уравновешенным, зрелым людям. Его восхищало самоуверенное спокойствие тех, кто умел так веско, как сказал бы Поливанов, «императивно» изложить свое мнение, кто умел с такой подавляющей естественностью играть заметную и пустую роль в жизни, как будто лучше ничего и придумать нельзя. Помимо того, что было наглухо закрыто от Димы китайской стеной общественных условий, мог бы он принять участие в той жизни, где доступ открывался рублем. Но, глядя на этих мужчин, с небрежной внимательностью провожавших своих содержанок под арками ресторанов, на спортсменов, открывших в спорте филиал порядочной жизни, на раздушенные благотворительные базары и даже демократическую толпу в воскресном Павловске, чувствовал Дима, что овладеть этим искусством, этой верой в естественное значение всего, что они делают, он был бы не в силах.

С женщиной он не знал о чем говорить; стеклянным в своей наглости официантам не умел без робости дать на чай, шоферу бросить лениво и бархатно: «К Палкину!» Насколько там, среди щелкания слоновой кости, в бильярдной, был Дима прост и находчив, настолько же здесь – натянута и скована. Ему приходилось думать и мучительно решаться на каждое незначительное слово или жест.

Однако, чувствуя себя часто пустым местом в кругу собеседников, лишним спутником случайной компании, он хотел найти хоть ограниченный круг жизни, где был бы он спасен от необходимости придумывать выход из чувства неловкости перед неожиданными искусами. С этой целью он усваивал умышленно то, что казалось ему признаком самодовлеющего равновесия людей: привычку к комфорту, вообще всякие мельчайшие привычки, упорядочивающие жизнь и дающие ей подобие самостоятельности. Он требовал, чтобы у него был собственный столовый прибор, стакан, ложечка, старался о том, чтобы его завтраки не совпадали с завтраками матери, отстаивая и в этом свою независимость.

Вставши в два, надевши серую пижаму, выпивши утренний кофе, сидел Дима перед трельяжем и, разложив сложный несессер, брился внимательно, оглядывая себя печальным и ласковым взглядом. Лицо было желтое, ровного цвета: ночная жизнь не приносила румянца, но, будучи привычной, не давала и болезненной бледности. Каштановые волосы расчесаны в пробор, голубые глаза под тонким желтым

веком, казалось, видели и сквозь веко.

Побрившись, он разбираал почту. Он получал все центральные газеты, читая лишь дневник происшествий в «Русском слове» да фельетоны Дорошевича, остальное тщательно подбирал в комплекты. Затем брался за балалайку. Играя с увлечением, он аранжировал знакомые мотивы, а там, где память изменяла, попросту фантазировал, будучи незнаком с нотами.

Среди игры он старался уловить, к чему его тянет, и, найдя, осознав свои желания, откладывал балалайку, чтобы перейти к занятиям, вытекавшим из его прямых склонностей: возился над устройством игрушки по рецептам «хитрой механики» или исследовал механизм музыкального ящика.

Часов в пять просыпалась мать. Превративши ночь в день, а день в ночь, она не знала солнечного света, проводила все вечера в чтении и воспоминаниях, ближайшим слушателем которых во время завтрака ее был Дима. Он выслушивал ее, поглядывая на часы, уходил завтракать в свою комнату и там читал или перечитывал, как всегда медленно, какой-нибудь из очередных романов Буссенара. Прочитанное принимал он горячо, оставаясь под впечатлением его весь день, чтению же отдавался не больше часа, а затем, сменив пижаму на пижам, уходил из дому.

По стрелам улиц, по сырым торцам, под рваными облаками, ехал Дима, привычно дыша каменноугольными запахами столицы, в Гостиный двор. Резко звенели трамваи, у Рус-

ско-Азиатского банка стояли глыбы автомобилей, памятники по-разному горячили холодных своих коней, и Екатерина улыбалась улыбкой самовлюбленной женщины над толпой своих любовников. А на углах гранитные городовые правили чинным уличным движением.

Купивши в магазинах, как всегда, что нужно и не нужно, торопился Дима уйти и, отправив с посыльным покупки домой, шел обедать, как правило, в «Квисисану». Здесь встречал его неизменный сосед, отставной земский начальник, балагур и враль Дом-Домацкий, уже хмельной привычным ресторанным хмелем.

– А вот и вы! Прелестно, прелестно...

Он принадлежал к числу тех людей, что стремятся пришедшую-таки после бурной жизни старость и грязь ее омыть в общении с молодежью. Но молодежь недолюбливает их. Недолюбливал и Дима, чувствуя себя жертвой чужой словоохотливости.

– Не угодно ли раков? – угощал Дом-Домацкий, задыхаясь, подавляя кашель, как он называл, «биргустен».

– Благодарю, – пытался уклониться Дима. – А вы?

– Я обожаю раков, но еще больше люблю выдержку...

По мнению Дом-Домацкого, раки плохо действовали на его астму. Лишение было столь велико, что он резко противопоставлял свой возраст тому, когда раки были для него безвредны. Но, будучи даже и здесь, в ресторане, хлебосолом, любил он угощать всех запретным для него блюдом и

испытывал при этом острое чувство отверженности. Вслед за этим он отводил душу воспоминаниями о службе в Павлоградском гусарском полку, о том, как умчал некогда невесту своему приятелю графу Н., лез, присасывая золотую верхнюю челюсть, в карман и доставал оттуда грехи юности – мадригалы и объяснения покидаемым любовницам. Скрипели фарфоровые манжеты и воротничок, жировой оплыв шеи готов был пролиться на черный сюртук, таивший в покрое что-то неуловимо военное.

Дима кончал обед, благодушно выслушивая анекдоты в духе кокоток ушедшего поколения, и пил с текущего счета своего в «Квисисане» «Сен-Рафаэль». Затем, согласившись с Дом-Домацким, что смерти своей он дождется не где, как в Санкт-Петербурге, Дима расплачивался, застегивал наглухо свой пиджак и отправлялся на Забалканский.

Было немало в столице перворазрядных бильярдных, где мог бы Дима найти партнеров и оценку высокому своему дару. Но он был верен привычке. Поливанов же говорил, ревнуя:

– Не место красит человека, а человек место. Вы не измените нам, о Дмитрий Алексеевич, это было бы цинично.

Впрочем, иногда, соскучившись, отправлялся Дима с Поливановым наугад в Гавань или на Петербургскую сторону и забирался куда-нибудь в третьеразрядную пивную. Там, в задней комнате, загаженной с лета мухами, на просаленных, залитых керосином бильярдах кривыми расщепленными ки-

ями играли извозчики и городская шпана.

Двери в пивную не затворялись, за крайним столиком сидел румяный пивом гостинодворец, и слышно было из бильярдной, как, наклоняясь к собутыльнице своей, говорил он сердечно:

– Не сомневайтесь, я с вами всегда всячески: и сзади, и спереди, и с боков...

Подумавши:

– ...и снизу, и сверху.

Войдя, после первой же конченной партии, бросал Дима громко:

– Любому двадцать очков... по сотне!

За этим всегда следовало молчание, шепоты; бывало, за кем-то посылали; Дима ждал, тихонько покатывая желтой, потемневшей кости шар, проверяя дефекты бильярда. Часто во встречной ставке были заинтересованы десять участников, шары на Димочкиной полке подсчитывал и охранял Поливанов, потому что всяко бывало – можно было не досчитаться и увидеть собственный шар в числе шаров партнера, очутившийся там не без злого содействия. Деньги обеими сторонами торжественно опускались в лузу, доступные общественному контролю.

Игра бывала горяча. Не всегда и не всякому имел право давать Дима такие большие преимущества, но он жаждал борьбы и риска, а выручали его безумная смелость в тактике игры и крупный куш. Кто бы ни был партнер, сотенная став-

ка для завсегдаев пивной была велика, над ней дрожали руки и кривил глаз. Дима, от одного прикосновения к кию возвращавший все свое хладнокровие, бил на это и в случае первого проигрыша удваивал куш, – Дима не знал цены рубля не только потому, что крупные выигрывал.

Решал дело первый промах партнера. Если даже до этого он был настроен спокойно, то как же сохранить спокойствие, когда винтом ввинчивался немыслимый шар, а свой, карамболируя, выходил под всю коронку? Это стоило сто рублей.

К концу игры иному зарвавшемуся, понадеявшемуся на свои силы маркеру прощал Дима великодушно весь проигрыш. Но был безжалостен к жукам. Эту породу бильярдных игроков, видящих в игре не призвание, но профессию и лучше всего изучивших ее коммерческую сторону, знал Дима хорошо и ненавидел ненавистью художника к невежде.

Иной раз он мог подолгу наблюдать непонятное ему терпение, с которым поджидает свою жертву жук – коммерсант игры и подчас недурной техник. Дима следил, как, появившись в бильярдной, выбрав неопытного простачка, обыгрывает его жук-гастролер исподволь, незаметно, тщательно скрывая свое умение, притворяясь неловким, бессовестно прося фору. Держась в тени, присматриваясь к посетителям, играя с худшими игроками, долго морочит жук публику, и только мало-помалу ему перестают доверять, после того как половина игроков похуже обобрана им.

Наблюдая жука, Дима удивлялся больше всего той вы-

держке, с которой тот пуделяет по верным шарам, наивному и грубому притворству, которое не изменяет ему до конца, даже тогда, когда он разгадан всеми, – а это случается месяца через полтора-два. Жук играет теперь уже с лучшими игроками на равных и скоро, сорвав последнее, исчезает из поля зрения. Вот тут-то часто выступал Дима общим мстителем, соблазнял жука и дачей форы и крупным кушем. В этих случаях Дима бил противника его же оружием, так как вдруг, к удивлению жука, обнаруживал богатейшее владение отыгрышем, тем самым, которого не хватало ему на два очка до прославленного Левушки. Жук мог бы по праву сказать, что Дима обычно не показывает отыгрыша.

Жукам говаривал Поливанов в назидание:

– Вы наказаны за грех, страшнее которого нет в жизни, – грех насилия над свободным своим движением.

На что получал зловещий по вложенному пожеланию ответ.

После таких вечеров Дима всегда тосковал, словно жизнь его вдруг представала наблюдению другим своим краем.

– А знаете ли, – доверчиво замечал он, – как все, в общем, паршиво. Я чувствую себя как в карцере, как будто меня не пускают жить... Как щепка в канализации. Ведь это самое большое, что доступно мне: прийти и обыграть несчастного маркера, у которого, смотришь, полдюжины ребят. А мне бы... мне бы... Вот если бы пришло такое же, как на бильярде, чтобы все сшибалось, брызгало в разные стороны, но что-

бы все было на самом деле... Вот я бы тогда!.. – загадывал он, мечтательно покачивая головой.

Но Поливанов утешал:

– Полно, Димочка. Спросите себя: кто еще здесь, в столице, живет такой нужной и современной жизнью, как вы? Все роются, как кроты: кто высиживает геморрой, кто бессмысленно вертится вместе с колесом какой-нибудь машины, кто, осатанелый, следит за поплавком своего рубля. Все это тоже не настоящее. Мусор и канализация. Лишь вы один в этом гнусном городе живете праведно в законах движения. Вы – тот праведный Лот, из-за которого пощажено это скопище потерявших корни людей. Полноте!..

Это было в городе Петрограде.

Свергнув вниз бронзовых воинов с германского посольства и утопив их в Мойке, столица зашумела военной гостиницей «Асторией». В витрине фотографии на углу Большой Морской были выставлены новые портреты царской семьи.

Люди обрастали защитным и черной кожей. Появились земгусары.

В бильярдную на Забалканском приходили теперь всегда и ее, внезапно покрупнев и покруглев бритым лицом, уже сменив студенческую тужурку на военный китель, и Казимир Казимирович неизменно встречал их фразой:

– О, и вас уже забрали! Боже ж мой, что это делается... Но желаю вам быть пулковником. И прошу взять во внимания,

что для господ офицеров у меня особая скидка.

С фронта приезжали созревшие в страдании люди, оттуда легла красная тень. Героем дня стал раненый офицер. На лица пал отпечаток неугасимой жадности к жизни, как будто злоба войны заставляла больше ценить и больше любить курчавые дни ее.

Женщины стали доступней и в жизни заметней.

Ставки крупней, игра азартней. Дима за полгода выиграл целое состояние.

При виде военных, с их мужеством, подчеркнутым осанкой, формой и налетом грубой прямолинейности, Дима испытывал живой рост зависти и всегдашней отчужденной печали: жизнь, покрепчав, проходила мимо. Каждый раз Дима вспоминал болезненную улыбку, с которой показал свое хилое тело врачам у воинского начальника, и то презрительное безмолвие, с которым его забраковали.

Поливанов же, укрывшись в санитарную форму, рассуждал:

– Конечно, война – изумительный пример движения, сведенного к единству. Но, увы, оно вычислено и взвешено на биржах в долларах и фунтах стерлингов. Желал бы я видеть, с каким кляпф-штоссом влетит чей-то шар в угол, когда эти массы людей, вызванных к движению, поймут, что стоит лишь изменить направление – и все полетит к черту... Вы простите, поручик, это лишь частная беседа под сводами храма движения. В моих статьях я не имею возможности ка-

саться этого.

Но поручик прощал. Поручик, надевши погоны, сам переставал чувствовать себя человеком и жадно хватался за все, что, казалось, возвращало его в привычное это звание.

Казимир Казимирович говорил:

– Бисмарк – это же голова! Вильгельм – это же дьяб-эл! Один начал, другой кончил. У нас, знаете, – голос понижался до шепота, – в верхах не все благополучно: все фонны да бароны...

Казимир Казимирович верхним чутьем угадывал настроение своих клиентов.

В бильярдной все чаще вспыхивали политические споры. Однажды дело кончилось арестом, и лишь много времени спустя стали возвращаться участники его, уже с фронтов, уже полукалеками...

Только гвардейцы вносили с собой иной дух, иные речи.

Но Дима играл со всеми равно, не делая выбора. Однажды он с удовольствием обыгрывал целую ночь подпольщика, волей судеб отсиживавшегося в бильярдной, лстя ему, хваля отвратительный его удар. В другой раз хохотал над пьяной компанией из двух гвардейцев и юнкера Николаевского училища, вломившихся в бильярдную.

Один из гвардейцев, с погонами капитана, держал ботефон. Юнкер, оглушенный вином, как отравленное животное, дремал на стуле. Капитан играл хорошо, радуясь каждому своему удару. Когда же Дима отточенным ударом загонял его

шар в лузу, капитан выпивал стакан пива и подходил к стулу.  
– Юнкер!..

Тот вскакивал с обесмысленными глазами, но чинный, руки по швам, силясь удержать стойку и уставной наклон туловища вперед.

– Юнкер, что такое традиция полка?

– Традиция полка – это священные правила чести, являющиеся обязательными и нерушимыми...

– Врешь, – поправлял второй гвардеец, – традиция – это священные правила, завещанные нам...

– Традиция – это...

– Дай мне расцеловать твою милую мордашку, – прерывал капитан и усами, омоченными пивной пеной, колот немолодое уже и плоское лицо одутловатого юнкера.

– Ты, Лева, скотинка и замечательный человек, – отвечал юнкер.

– За здоровье государя императора! – продолжал капитан и, опрокинув стакан, возвращался к ботелефону, до нового проигрыша, когда Дима, смеясь, вгонял его шар дублетом.

Вернувшись к снова упавшему на стул юнкеру, подняв его в стойку, спрашивал теперь капитан:

– Юнкер, укажите мне парадную форму Ингерманландского полка...

Дело кончилось тем, что, шлепнувшись навзничь на пол и раскинув руки и ноги, юнкер захрапел густым, тембристым храпом, и никакие грозные оклики не могли заставить его

вернуться к рассуждениям о долге гвардейского офицера и суде чести.

Безуспешные свои попытки привести его в чувство закончил маркер Федор следующей фразой:

– Они вроде как дохлый шар, который висит над лузой. как его ни ткни, он сам падает.

Дни проходят все более ускоренным бегом. В столице меньше продуктов, больше калек, очереди за хлебом, вереницы раненых.

Подошло время «глупости или измены», распутинского кукиша, полиция обучалась стрельбе из пулеметов, ком войны катился, явно уже управляемый лишь собственной тяжестью.

Дима стал больше гулять. Ему доставляло удовольствие чувствовать под ногами погрязневшие теперь соты торцов. Столичная улица, посеревшая и опустившаяся, таила в себе что-то необыкновенное, как будто, сбрасывая с себя довольство и порядок, вынашивала она небывалые вещи, наполняясь предчувствиями и ожиданиями бунтарского материнства.

В студеный мглистый день увидел однажды Дима, проходя по Измайловскому проспекту, солдат, занятых рассыпным строем. Они лежали на животах, шелкая затворами винтовок, в сапогах с недомерками-голенищами, в молескиновых шинелях летнего образца, в суконных защитных варежках. Один из них, улучив минуту, когда отошел офицер, за-

кутанный в бекешу, отороченную серым каракулем, снял варежку и синей, сочащейся кровью рукой вытер кровь с лица. Офицер, впрочем, тут же вернулся и вlepил ему еще два пинка бурковым сапогом. Дима, хрустнув пальцами в карманах ильковой шубы, подошел к хвосту первой попавшейся очереди в какой-то магазин и, по временам взглядывая на продолжавшееся учение, продвигался медленно вперед. Попав наконец в магазин, он понял, что очередь – за сахаром, и купил себе положенные три фунта. Вечером он важно отдал покупку Поливанову со словами:

– Вот тема, достойная вашего толкования.

На что Поливанов отвечал:

– Мы еще об этом поговорим.

С тех пор любопытнейшими глазами смотрел Дима на все, что творилось вокруг: на парады гвардейских и матросских частей, на посольские автомобили, на кучеров собственных выездов, носивших на кушаках над толстыми своими задками обращенные к седоку часы. С изумлением наблюдал он теперь женщин. К ним всегда относился Дима очень издалека и очень ласково, как к детям, которых любят, но не умеют к ним подойти. За ласковостью его скрывалась пугливая робость, выливавшаяся в наружное отчуждение, удалявшее, вычеркивавшее из его жизни тех женщин, к которым мог бы он испытывать не одно лишь равнодушие. Теперь вдруг почувствовал он огромный интерес и уважение к ним, раскрашенным, крикливым и шумным.

В кафе Андреева на Невском однажды задумался Дима о той сцене взятия крепости Гермозильо тремя храбрецами, которую не дочитал он, прервавши чтение на самом интересном месте. Предприятие это безумно, но крепость будет взята – это Дима знал и переживал теперь предчувствие замечательного подвига, которому он будет трепетнейшим свидетелем. Роман Эмара лежал у него в кармане. Задумавшись, рассматривал он припудренную, взбитую, как сливки, толпу, оставив нетронутой лежавшую на столе сдачу. Через плечо его протянулась ручка, затянута в дешевенькую лайку, и, проворно скомкав хрусткую трехрублевку, исчезла.

Оглянувшись, вспомнил Дима, что в крикливом этом и злобном месте нетронутая сдача считалась условным авансом; увидел девушку с чуть нежно и порочно измятым полным лицом под завитыми русыми волосами и, потеряв нить своих мыслей, улыбнулся растерянно.

Девушка, порывшись в сумке, вытащила пудреницу и, обмахнувши пуховкой лицо, рассматривая себя в зеркальце, сказала:

– Я вчера осталась без кавалера и задолжала вон тому идолу, – кивнула в сторону официанта. – Можно сесть за ваш столик?

Кафе жужжало, горело электричество, несмотря на то что был еще день. Кафе, спрятанное в длинных зеркальных подвалах, хотело жить только ночной жизнью.

Дима спросил пирожных, кофе и с удовольствием смот-

рел, как девушка с толком, со знанием дела выбирала миндальные и кремовые, хрустя свежими, ровными зубами. Откинувшись затем, она стала болтать о том, как кутила на прошлой неделе с морским летчиком, о том, что с фронта мужчины приезжают как бешеные и что лучше всех все же кавалеристы. Закончила:

– Ну что же, поедем ко мне?

Дима болезненно подумал, как рядом с нею, стройной и мягкой в осеннем пальто, резко выделится его горб, сразу сжался и покачал головой. Она внимательно посмотрела на него и спросила:

– Не нужно?.. Может быть, после?

Порывшись в сумке, она вынула карточку и дала Диме. На ней стояло «Наташа Оглоблина» и адрес – где-то на Охтенской стороне. Дима спрятал карточку в карман, но этот жест ему сказал, что прячет он вместе с карточкой еще полгода или год, и, внезапно побледнев, он решил ехать тут же. И когда он расплатился, а она поняла, что он согласен, то улыбнулась очень просто и счастливо.

Эту улыбку наблюдал Дима всю дорогу, пока они ездили за коньяком, пока лихач мчал их на Охту.

Комната ее была невелика. Половину занимала огромная никелированная кровать, покрытая алым атласным одеялом, напротив стоял небольшой ковровый диван с парой таких же кресел и овальным столом. Сбоку – зеркальный шкаф.

– Это все мое, – сказала Наташа с легкой гордостью, – кро-

ме шкафа, шкаф хозяйки. Я уже год, как ушла из дома.

Дима понял, что дом не был родительским.

Радиаторы излучали темное тепло. Пока Дима раскупоривал бутылки, Наташа обернула лампочку, спускавшуюся с потолка, красной кисеей и заколола булавками плотные занавеси на окне.

Когда она села, Дима уловил ее взгляд, быстро оглянувшийся его горбатую спину и отвернувшийся, остановившийся на его прекрасных печальных глазах. Тут она улыбнулась снова своей нежной, порочной и простой улыбкой, а Дима с этой минуты почувствовал себя необыкновенно легко и уютно, сразу поверив, что она умеет простить все тягостное и ничего не хочет, кроме того, что есть.

Наташа, одним укусом закусив пол-яблока, села к нему на колени и прижала его лицо к своей пахнувшей пудрой через тонкое полушелковое платье груди. Но, заметив, что его детски мягкие руки, обнимая ее, спокойны, а он сдержан, не стала навязчивой и ушла снова на диван.

Здесь она, занявшись собою, стала пить, опять с толком, с видимым знанием вин и алкоголическим смакованием. Опускала в коньяк очищенные ломтики груши и маленьким языком и губами обсасывала их раньше, чем проглотить. Мало-помалу пьянея и раздеваясь медленными, величественными движениями, откинулась на спинку и из полной рюмки, ежась и щекотливо смеясь от холода, полила свой голый живот коньяком, – коньяк сбежал тонкими ароматными

струйками.

Дима пил мало, курил голландские слабые, пряные папиросы, голова его слегка кружилась от запаха разлитого спирта, он смотрел на Наташу и слушал ее несвязную болтовню, ее подчас грубые воспоминания. Он решил, что вот об этих женщинах с любопытством и подавленной завистью думают другие недаром, – среди скандалов и насилия испытала не раз Наташа то, о чем лишь мечтают другие: звериную страсть, усложненные пороки, жуть и аромат преступления.

Наташа, побледнев от вина, что стало заметно даже при розовом свете, теперь совсем нагая, качаясь, разгуливала по комнате, вертясь перед зеркальным шкафом, касаясь грубоватым телом холодного зеркала и вздрагивая.

– Теперь, когда у меня своя квартира, я не люблю скандальных гостей, – говорила она, – я люблю таких, как ты, а если хочешь кутить – едем в дом... Ты не скучаешь, миленький?

– Нет, – отвечал Дима, выжимая в рюмку лимон.

Вдруг Наташа, подойдя к столу, налила полный стакан коньяку и, залпом выпив, сказавши:

– На! – бросилась в кресло.

Здесь она быстро сдала. Побледневшее лицо ее стало тоньше и потеряло бесстыдство, крашенные губы разрезали его тонкой счастливой чертой, а полузакрытые глаза, казалось, не смотрели, а слушали о каких-то невероятных желаниях.

Дима заботливо помог ей перейти на постель и, уклонившись от ее рук, оставил ее там в раскинутой позе, покрытую легкой испариной и уже совсем обессиленную. Сам же вернулся в кресло и, вытянув ноги, вынул из кармана и развернул роман Эмара на недочитанном месте.

Развязка близилась. Освободитель Соноры граф де Прэбуа Крансе, заключенный в цитадель, ожидал своего последнего часа. Меж тем, выручая, Валентин Гиллуа с Анджелой и другом своим Курумиллой отважно подготавливали побег... Сраз захваченный повествованием, Дима, волнуясь, вчитывался в строки. Несправедливость судьбы к великодушным заговорщикам так сильно угнетала его, что он готов был бросить книгу, не дочитав. Но в нем жила еще надежда на удачу, хоть в то же время Дима знал, что Сонора не стала свободной. И когда граф де Прэбуа Крансе мужественно встретил смерть – Дима больше не мог: он захлопнул книгу и застыл в глубоком переживании сочувствия и невыразимой печали. Личность Крансе всплывала перед ним во всем своем недоказанном, но таком вероятном величии. Любовь донны Анджелы, преданные друзья, измена гасиендеро, предатель испанец, крушение...

Дима вздохнул. Дымка вымысла и фантазии колыхалась вокруг него, заслоняя окружающее. В этом привычном мире мысли его были невесомы. Легко думалось обо всем. Было несомненно, что есть в жизни герои, что ими движут благородные и великодушные цели. И Дима переставал ощу-

щать себя не одолевшим четырех классов гимназии горбатым недорослем, отверженным завсегдаем бильярдной, а становился незаписанным участником всех этих прекрасных походов в диких, девственных странах, сообщником тайных их планов, судией жестокости, преступления и насилия...

Наташа шевельнулась, и Дима растерянно оглянулся. Все та же счастливая улыбка блуждала на ее лице. Это разрезало сразу его мысли, и они, как побеги, привитые к иному стволу, налились земными крепкими соками. В ее улыбке было такое веяние жизни и простоты, в Диминой душе столько мечтательного доверия к ней, что все это казалось вне действительности, каким-то краем присутствовал образ донны Анджелы, ушли вся робость и отчужденность бесследно. Когда же она потянула руку, незнакомая сила подхватила Диму. Покачнувшись, он встал, подошел к ней – и прожил с ней безвыходно два дня, причем Наташа, просыпаясь, пила и целовалась с отражением своим в зеркале, а он курил и перечитывал начало и середину романа.

Третье утро пришло резко, как барабанный бой.

В квартире кругом шумели и хлопали дверьми. Наташа, похмельная и растрепанная, едва одетая, где-то в коридоре громко тараторила с хозяйкой. Дима думал, что нужно наконец домой, представлял себе ироническую улыбку матери и чувствовал, что стал теперь иначе ценить и жизнь, и себя, и военную злобу.

Вернулась Наташа другой – оживленной и торопливой.

– Слышал? Там, на Петербургской, фараонов бьют. А они с чердаков отстреливаются... – бросала она скороговоркой, холодной водой умывая свое слегка отекавшее лицо и тело до пояса. – Пойдем, миленький... Ты пойдешь?..

Дима вздрогнул и быстро, как будто застеснявшись прихода нежданного гостя, обвел глазами всю беспорядочную комнату, заспанную кровать, бутылки на столе, пепельницу, полную пепла и окурков. Он мгновенно оделся и, оглянувшись еще раз, заметил на столе раскрытую книгу Эмара, захлопнул и положил на окно, с удивлением поймав себя на мысли, что еще вернется сюда...

На улицах было все по-новому. Дали не прятались за скукой расстояния, и широкие петербургские перспективы раскрывались с непонятной откровенностью. Стал виден воздух, обострился смысл существования каждого дома, каждого камня. Дима бежал с Наташей под руку, охваченный неясным огромным ожиданием и сочувствием к тому, что смутно угадывалось в уличной тишине, разрываемой любопытными и возбужденными прокриками бегущих людей. Что-то большое, незримое металось по улицам. Дима искал в каждом встречном ответа, смотря в лицо, в глаза, и бежал все дальше...

Вот по торцам загремела влекомая, как добыча, железная вывеска полицейского участка. Туда, откуда, подшвыривая ногами, бесцельно влекли ее, бросился Дима...

Перед домом стояла небольшая толпа. Окна участка были разбиты. Вороха бумаг и растрепанных дел летели из окон второго этажа. И в первый раз видел Дима алый флаг, не колеблемый в руках нестройной толпы, но твердо, неподвижно укрепленный на камне хмурого здания.

Только через неделю попал Дима в бильярдную. Его встретили как воскресшего. Дима, отдохнув от кия, играл вдохновенно и пылко, развернув весь блеск и совершенство своего удара.

Поливанов после двух сухих кричал петушком:

– Нет, вы подумайте: он был полубогом, а вернулся богом.

Почему вы играете триплет, когда у вас на ударе прямой?

Но Димочкин триплет ложился на сукно безупречно, как упавший чертеж.

– Вы помните, конечно, о юноши, – потирал Поливанов свою плешь, – как рады были математики, что пчелы в постройке своих сотов приблизились к математическому решению этого вопроса с точностью в углах до двух минут градуса. И как пришлось потом Реомюру и Кенигу убедиться, что поправку в две минуты следует вносить не пчелам в постройку сотов, но математикам в логарифмические таблицы. Не рискнет ли кто-нибудь научить Димочку, как сыграть заказанный им круазе в угол? Желающих нет?.. Ну-с, тогда вернемся к текущему политическому моменту, сиречь к вопросу о падении самодержавия. Ваше слово, товарищ маркер!

– Да что ж... Они вроде как дохлый шар, который висит над лузой. Как ни пхни его – сам падает.

У Федора, как и у большинства присутствовавших, был приколот к борту пиджака красный бант.

Публика шумела, повторяли слухи о новых политических событиях и рассказы о пережитом в разных частях города. Дима слушал, играя, и ему хотелось быть всюду. Теперь по утрам бегал он, с молчаливой жадностью прислушиваясь к разговорам солдатских групп, ходил по залам Таврического дворца с Поливановым, то под руку с Наташей. В разговорах он не участвовал, но слушал с удовольствием. Только раз, когда разнесся слух о разгроме университета, обмолвился:

– Это хорошо.

На что Поливанов ответил:

– Ого! Вы становитесь сознательнее.

Дима ласково улыбнулся, не возражая.

Однажды, вмешавшись в один из тех постоянных, неопределенного характера митингов, что начинались с утра и кончались лишь глубокой ночью у городской думы, они долго слушали забинтованного контуженного солдата. Солдат убежденно эсерствовал, и косная речь его перебивалась репликами из толпы пестрого состава; попеременно с шинелями виднелись рясы, котелки и студенческие фуражки. Солдата сменил какой-то почтовый чиновник, призывавший к организованности и порядку.

– Пойдите, – внезапно сказал Поливанов, – я им скажу...

Не успел Дима оглянуться, как увидел его уже в середине толпы, над толпой, размахивающего руками и крайне нелепого. Первых фраз не слышал Дима за шумом, а когда шум поутих, то удивился жалкому звуку по-ливановского фальцета здесь, на уличном просторе. Невдалеке одновременно говорил другой оратор; публика, видимо, была раздражена, Поливанова не слушали. С трудом протиснувшись вперед, Дима ловил фразы из пятого в десятое.

– ...И не слушайте тех, кто зовет вас к организованности, прикрывая под этим словом топтание на месте. Сейчас пришло время, когда можно и нужно двигаться во что бы то ни стало, куда бы это ни привело. А эта порода людей боится всякого размаха, всякого свободного движения. Действуйте, пока не поздно! Придет время – вас окружат опять неминуемо, ибо мир ныне живет техникой, а техника движется формулой, и человеку все меньше и меньше места для действий, рожденных из его способности к жизни в движении, каждый шаг его все более обусловлен. Пользуйтесь же временем. Я вижу здесь много котелков – это, конечно, кадеты...

– Болван! – громко сказал тут господин в золотых очках.

– Здесь есть эсеры... Мы услышим и меньшевиков и большевиков... В чем дело? Кого вы убедите словами? Давайте действовать, докажите примером. В первом же магазине, разбив стекла, мы возьмем кумача на плакаты и, написав все, что нужно: «До победного конца!», «В борьбе обретешь...», «Долой преступную войну!», «Да здравствует

учредительное!» – молча пойдем каждый своей дорогой: кто – арестовывать Временное правительство, кто – бить Совет рабочих депутатов...

– Долой провокатора! Довольно!.. – сразу крикнули тут несколько голосов.

– И вы увидите, как это сразу двинет дело... – не сдавался Поливанов.

– Долой! – ревело уже полтолпы.

Но поливановский фальцет, вдруг ставши необыкновенно пронзительным, прорезал шум:

– Каждое законченное, приведенное в исполнение намерение научит вас большему, нежели месяц этого бараньего митинга!..

Тут уже Дима ничего не мог разобрать. Поливанов среди шума безрезультатно открывал и закрывал челюсть, мимикой своей напоминая говорящего на экране киноактера. Затем его столкнули, сбили с него шапку, и Дима видел, как какой-то гвардеец дал ему подзатыльник. Потом все смешалось, а через минуту Поливанов вылетел из гущи толпы навстречу взволнованному и обеспокоенному Диме без шапки, но со счастливым и радостным лицом.

– Должно быть, анархист! – иронически и пренебрежительно крикнул кто-то вдогонку ему.

– И горжусь этим! – огрызнулся Поливанов.

– Вы неисправимы, – сказал Дима, увлекая его за руку. – Что вам нужно?

– Движения во всех его формах, – пьяно отвечал Поливанов.

– Даже тогда, когда оно направлено по отношению к вашему затылку?.. Едемте лучше на Забалканский, я вам всыплю еще две сухих.

Однако неудачное поливановское выступление почему-то заставило Диму дружески-тепло придерживать по дороге руку своего спутника. Дима чувствовал, что заведен в тупик. Ему и самому казалось, что что-то подкатывает под ноги, какая-то волна разливается повсюду, но митинги все стоят, уже по пояс в воде, с неподвижной тупостью и все хотят выдержать неодолимый, но ясный напор.

А жадные серые волны шли с фронта и, встречаясь с заводскими, всплескивали вверх, выбрасывая на трибуны и балконы людей с бешеными выкриками, со всевидящими глазами.

Дима все реже бывал в бильярдной. Он бродил то у особняка Кшесинской, то у дома герцога Лейхтенбергского; бродил без мыслей в голове, наслаждаясь видом высокого зеленоватого весеннего неба, отблесками закатов на зданиях дворцов, ночными кострами на улицах, грузовиками, мчавшимися под стальным ежом ошестиненных штыков, и этой особенной широтой петроградских перспектив. Улицы гремели эхом многотысячных толп; Нева из-под мостов плавила свои вскипающие воды навстречу Кронштадту...

Порою Дима переставал понимать, как это случилось, как

могла строгая и размеренная жизнь так невероятно раскаться. В нем еще жило чувство, что в жизни нет и не может быть ничего сверхъестественного, а если и появится что-то чудесное, то стоит вспомнить, что спишь, как сейчас же приходит пробуждение и вместе с ним постылая скука, единственно достоверная в жизни. И Дима не знал – нужно ли протирать неверящие глаза или поверить однажды накрепко и зажить так, как если бы осталось, что мир навсегда околдован сном, полным кривой новизны.

Все же в шумящих толпах Дима чувствовал себя одиноким. Порой он ловил себя на том, что, встретив распевющую на ходу толпу, отороченную каймой приплясывающих и весело орущих ребят, начинал и он подтанцовывать. И, лишь заметив это и вспомнив, как всегда, в смущении о своем горбе, спохватываясь Дима и, отравленный, отходил. Легче бывало ему с Наташей. Она, азартная и прямая, всегда с жаром отстаивала тот или иной список, всякий день, впрочем, меняя свои симпатии. Над ней посмеивались окружающие, посмеивался ласково и Дима, но она не теряла задора. А однажды сказала по поводу встретившейся демонстрации:

– Ты знаешь стишки Пуришкевича:

*Не видать земли ни пяди...*

– Тебе не неловко? – усмехнулся Дима.

– Ничуть! Я – жрица свободной любви... Это о вас, о муж-

чинах... Все вы сволочи!..

И, вырвавши руку, Наташа, разгневанная, подбежала к остановившемуся грузовику, вскочила в раскачивающуюся груды солдат и уехала с ними. С этого дня не видел ее Дима две недели, тосковал. Наташа с кем-то кутила, а вернувшись наконец домой, встретила Диму как ни в чем не бывало, с той снисходительностью, с какой всегда к нему относилась. Но Дима что-то понял и в ближайший же день привез ей столового белья и чайный сервиз. Этим ссора была исчерпана. Дима каждый вечер теперь пил чай у Наташи, а она затеяла принимать всех своих подруг, хозяйничая не без умения, не допуская, чтобы пили лишнее, и сторонясь мужчин.

По утрам по-прежнему гуляли. Но наконец это Диме наскучило – к тому же Наташа сорвалась и впала в запой, – Дима опять зачастил в бильярдную.

Там между тем еще раз изменился состав игроков. Казимир Казимирович, идя навстречу возросшему спросу, расширил помещение, добавил еще два бильярда, и теперь сюда стекалась странная публика. Какой-то армянин с адъютантскими аксельбантами бесшумно и крупно играл, избегая сталкиваться с Димой, ему всегда сопутствовал старик, называвший себя отцом, – Дима, впрочем, был уверен, что родство их ограничивалось братским дележом выигрыша, не столько бильярдного, сколько карточного, за железкой, в номере гостиницы, среди партнеров, вербуемых в бильярдной. Вербовать было легко: в столицу хлынула толпа помещиков,

отставных крупных чиновников и прочей шушеры, не привыкшей, чтоб деньги, хотя и последние, залеживались долго в карманах. Их жажду проигрыша обслуживали адъютант с папашей и два-три жучка помельче.

Зайдя однажды, скользя рассеянным взглядом по незнакомым лицам, Дима вдруг увидел кудрявого богатыря в расстегнутой синего сукна легкой поддевке, двигавшегося навстречу с протянутыми руками.

– Ага, вот и ты, а мне говорили, что ты сгинул, говорили, что ты комиссаром стал... Сыграем, что ли?

И Грохотов здоровался долго своей твердой рукой подрядчика, нажившегося на военных поставках. Курчавый черными с проседью кудрями, загорелый не столичным загаром, хранил он в лице что-то быстрое, цыганское. И теперь, отвернувшись, смотрел на столы с подавленной энергией.

– Ну, товарищи, ну, сукины дети, что понаделали, – шептал он как будто в забытии, как будто отвечая Диме на какой-то его вопрос. Кий выбрал быстро, одним взглядом оценив прямизну его, а подбросив и поймав – вес; натирал мелом, ломая, разбрызгивая по полу осколки, и было ясно, что хоть обижен Грохотов смертельно, но имел силы уйти в себя и теперь грозил оттуда, из глубины души, расправиться, когда придет время, по-свойски и подзажать в свой волосатый кулак казнокрада все, что можно будет и что нельзя. Резким взмахом замахнулся он, но ударил осторожно и мягко, слегка лишь разбив пирамидку.

– Играй, Дима, игрушку, бей меня, плута, проиграл я тебе петеньку!

Дима начал нехотя. Его беспокоило что-то; казалось, что беспокоил старик, игравший за соседним бильярдом, жилистый и медлительный, почти после каждого удара отходивший в угол прокашляться и плюнуть. С глухим раздражением смотрел Дима, как он целится долго; мешая пройти – бильярды стояли теперь тесновато, – брезгливо рассматривал нечистую одежду старика и желтые тупые ногти его.

Грохотов играл с прибаутками, но прижимисто. Дима, скучая, отыгрывался и стал больше следить за соседним столом, чем за своим.

На небритом лице старика неподвижно стояли глаза, мертвые для всего, кроме расчета; тихими накатами, бесильными, но методичными, обыгрывал он своего молчаливого партнера. Скоро заметил Дима, что не он один заинтересовался стариком; сидя в углу на диванчике, с него не спускал глаз коренастый, лет тридцати пяти блондин в кожаной с огромным красным бантом куртке.

«Должно быть, держит мазу, – подумал Дима. – Но за кого?»

Старик тщательно целился, чтобы положить в среднюю.  
– Не влез!.. Подставил я тебе!.. – горестно воскликнул здесь Грохотов. – Ну, товарищи, ну, паршивцы-сопляки!..

Но Дима вдруг увидел, что сидевший на диванчике блондин встал и крадучись подходит сзади к старику. Дима не

успел подумать, что это значит, как все объяснилось: блондин, изогнувшись, наотмашь ударил старика в ухо...

Старик упал на бильярд, схватившись за ухо рукой. Изпод пальцев быстро показалась кровь.

Все остановилось. Сквозь неясный ропот кто-то громко сказал:

– Вот это так ахнул!..

Потом все заговорили. Старик все еще лежал на бильярде, блондин все еще стоял на своем месте и, покрывая шум, спросил ясным голосом:

– Ты знаешь, Сеня, за что?

– Знаю, Андрей Терентьевич, – тихо ответил старик, не меняя позы.

Тем временем все уже столпились вокруг плотным кольцом. Толстяк с глазами навывкате и красной щекой кричал:

– Ты что же думаешь, на тебя милиции нет? Думаешь – революция, так можно людей в общественном месте калечить? А еще бант нацепил, бандит зует!..

Блондин стоял неподвижно и спокойно, но тут все заметили торчащий из-под кожаной его куртки кончик замшевой револьверной кобуры. Кружок несколько раздвинулся. Блондин же презрительно сказал:

– Вы на меня не кричите, я не собака... Лучше спросите, в чем дело. Сеня, скажи им, – замотал ты у меня пятьдесят целковых золотом или нет?

Старик молчал.

Что толкнуло здесь Диму – он и сам не мог понять. Хрустнув пальцами, как тогда на Измайловском, вытащив из жилетного кармана уже очень редкие в те времена пять золотых, зажав их в кулак, одним движением прорвал он кружок. На миг остановился он перед блондином, трепещущий, тщедушный в своем порыве, и, сразу разжав кулак, вlepил вместе с сухим ударом монеты в его щеку. Золотые рассыпались, слабо звеня... Краем глаза заметил Дима, как торопливо забегали руки блондина, нашаривая револьвер. Не ожидая, не раздумывая, он перехватил кий и тяжелой, налитой свинцом рукояткой дважды ударил его по голове. Дальше уже нельзя было двигаться: навалились окружающие, кто вмешался в борьбу, кто бросился поднимать золотые, их разделили, блондина куда-то поволокли, и уже суетился встревоженный Казимир Казимирович:

– Ради бога, ради бога, без скандалу, без огласки... Ай, что за люди пошли, что за публика, просто быдла какие-то...

Дима стоял дрожа, с остановившимися глазами, со взмокшим лбом...

В бильярдной шумели, оценивая случившееся; старик, обмыв ухо, пришел с тем же мертвенным видом, так же методически обыгрывать своего партнера. Грохотов удивлялся:

– Вот ты какой хахарь! Ну и Дима... Только понапрасну – он тебя где-нибудь встретит, товарищок этот. Ты думаешь, у меня руки не чешутся? Но не время сейчас, не время, говорю, играть, дай бог отыгаться... И золотые – ты знаешь,

какой курс теперь?..

– Дмитрий Алексеевич, это же взломщик, по сейфам работает, – прошептал подошедший сзади маркер Федор. – Его вся Лиговка знает... Недавно из тюрьмы вышел...

Старик уже кончил партию, выиграв в последнем, и принялся за новую, а Дима все еще не мог успокоиться. Наотрез отказался он продолжать игру, и, когда расплачивался, Грохотов сказал:

– Горяч ты очень. По справедливости – ты мне не проиграл, зря отдаешь...

Тем не менее спрятал пятисотку в бумажник.

А Дима, едва сдерживаясь, накинул пальто и выбежал на улицу. Здесь только, севши на извозчичью пролетку, уткнувшись в угол, зарыдал он тихо и безутешно, как если бы, приложив руку к человеку, лишился он какой-то нужной в жизни чистоты.

С тех пор только раз поборол Дима свое родившееся отвращение к бильярду. Это было после того, как целый день накануне он провел на улицах с Поливановым, натываясь всюду на разведенные мосты. Группы солдат были как-то замкнуты, недоверчивы, публика немногословна. Видно было, что никто в точности не знал, что делается, все раздражены и хранят про себя догадки и отношение к совершающемуся.

– Давайте плюнем, – сказал Поливанов. – Это не для вас и не для меня. Россия стремится неуклонно к своему Напо-

леону. Ну и черт с ней, иначе вас сделают конторщиком. А наше дело: вам – играть на бильярде, а мне – быть толкователем вашего искусства. Мы забыли об этом и лезем на улицу. Ну вот и дождались, что улица повернула нам спину. Надо вернуться в материнское ложе искусства, воспитавшего вас. Приходите-ка завтра на Забалканский, да потрянем стариной.

Так и случилось, что встретились они у бильярда еще при дневном свете.

Со странным чувством взял Дима в руки кий. Тяжесть рукоятки еще живо напоминала о том употреблении, какое неожиданно получила она последний раз. За эти полтора-два месяца Дима несколько утратил технику. Правда, глаз видел очень зорко, рука сжимала кий и двигалась очень твердо, но было ощущение какой-то излишне затрачиваемой силы, несвободы, как будто приходилось бороться с чем-то вязким, выросшим за это время. Однако бывшее увлечение захватывало Диму. Он играл напряженно, выравнивая удар, партию за партией.

– Вот видите, – говорил Поливанов, – вам вредно забывать бильярд. Вы как-то созрели за это время. Вся моя чуткость к оттенкам вашей игры подсказывает мне, что вы оставили сегодня ваш мальчишеский задор... Не Наташа ли действует так на вас? Ваша мечтательная пылкость нынче похожа скорее на зрелое бесстрашие аргонавта... Хотите, я подскажу? Играйте семерку с выходом под десятого...

И Дима, играя по назначению Поливанова с прилежно-

стью и старанием, вдруг почувствовал желание сыграть какую-то небывалую партию.

Казимир Казимирович, войдя, сообщал всем секрет полишинеля:

– Вы знаете, к Зимнему дворцу подошли броневики... – И не удержался от измышлений: – Полно переодетых немцев!..

Кий затрепетал в руках Димы, как струна. Звонко перебежало по столу упругое щелканье шаров.

– Знаете ли, Димочка, что такое причинность? – проговорил Поливанов. – Это – инерция движения. Если движение выражено прямой, математическим рядом точек... – дублет в середину!.. – рядом точек, то положение точки «б» вытекает из положения точки «а»... Может ли «б» не прийти? Туда же тройку!.. Может, – тут Поливанов лукаво улыбнулся, – если мы помешаем. И это будет покой – отсутствие и отрицание причинности. Не правда ли?

Публика расходилась, бильярдная пустела. Казимир Казимирович ходил тревожный, предупредил:

– Я закрыл вход, кто знает, что может быть. Вы будете играть?.. Пожалуйста, пожалуйста, свои гости... Это просто мои меры, каждый должен быть на своем посту.

Игра продолжалась в пустой бильярдной.

Лишние лампы были погашены. Поливанов, достав из пальто бутылку водки, пил среди игры в углу, в полутьме, закусывая бутербродами, а Дима, забыв о нем, играл как будто сам с собой, удар за ударом завоевывая гибкость, подавлен-

ную было косностью, возвращая былое мастерство.

– Я вас поймал, – сказал Поливанов, ероша редкие на плешине волосы, глубокомысленно глядя на стол. – Давно вы не уделяли мне своего внимания. Конечно, что значит для вас, смелого аргонавта, старый и хилый любитель мудрости в неуловимых, текучих во времени форм движения... Скажите, Дима: как ваша матушка?

– Я схоронил ее на той неделе, – ответил Дима.

Голос его взвизгнул в полутьме, и, только лишь поэтому пожалев, что спросил, Поливанов наклонился над озаренным сукном, тихо отведя биток к борту.

Дима же, нагнувшись, взмахнул бровью и взглядом измерил положение шаров – точнее взгляда нет ничего в мире, – измерив, ударил с назначением:

– Восьмерку в угол.

Рванулась восьмерка молниеносно, сторели под нею два аршина зеленого сукна, со звоном врезавшись в лузу, пропал шар – казалось, это он, пролетев пространства, грохоча, взорвался в Зимнем дворце.

– Стоило отыгрываться, – пробормотал Поливанов. – О смелый аргонавт!

Теперь уже ясно почувствовал Дима, что пришел какой-то перелом: удар вернулся к нему. Дима слегка устал, но голова горела, теплые руки чувствовали малейшую неточность, он, почти не целясь, взял партию с одного кия.

В окна снова глухо и упруго ударили пушечные выстрелы

– выстрелы с «Авроры». Окна ответили тихим звоном.

Маркер Федор едва успевал ставить пирамидку. Заметив гибельное оживление, охватившее Диму, он сказал с оттенком профессионального уважения:

– Вы, Дмитрий Алексеевич, как дочь пропиваете...

В самом деле, казалось, что это последняя игра. Поливанов только удивленно покачивал головой. Дима, кончая вторую партию опять с одного кия, остановился перед прямым ударом по висевшему над лузой шару. Ему хотелось одним взмахом раздробить вдребезги кий, вогнать шар так, чтобы либо он раскололся, либо отскочила медная обшивка лузы, и тем закончить партию. Он размахнулся и ударил изо всей силы... Шар сгинул, но кий не сломался, а лишь треснул во всю длину, пробковая наклейка отскочила, и первый раз в своей жизни Дима разорвал сукно на бильярде большим прямоугольным клоком, обнажив черный аспид доски.

Два дня Дима пробыл в состоянии тоскливого беспокойства, пугливого недоумения перед совершающимся, доходившим до него эхом перестрелок и уродливым преломлением квартирных слухов. По ночам не спалось, он гасил огонь и смотрел в окна, закутавшись в тяжелый оконный занавес. Глубокая осень стыла над черными улицами, Дима вспомнил, как шел он один за гробом матери, как с той поры не оставляет его всеобъемлющее чувство одиночества.

Наконец он не выдержал – в восемь утра уже оделся и по-

брел по туманной, сумеречной Лиговке к Наташе. Еще горели фонари. Дома, как корабли на якорях, недвижно сырели по сторонам. Около Знаменской площади перед подъездом гостиницы стоял одинокий извозчик. Первый человек, которого увидел Дима, был Грохотов, укладывающий чемоданы в пролетку. Дима несказанно обрадовался ему.

– Куда?

– В Москву, милый, в Москву, – ответил Грохотов весело, – она им, матушка, покажет...

Дима повел удивленно глазами.

– Ну да. Ты не знаешь, чем кончилось? На, читай...

И Грохотов вынул торжественно из кармана листовку Временного Совета Российской Республики с призывом о сплочении вокруг комитетов спасения родины и революции.

– Понял?

Дима понял и взволновался глухим, томительным волнением. Сразу встала давно подавляемая мысль – что делать?

– Хочешь, едем со мной, – предложил Грохотов. – Вместе веселее.

Дима раздумывал, а он, схватив его за рукав, шептал горячим шепотом, поглядывая по сторонам:

– Правительство арестовали, блатных из тюрем по-выпустили. Банки прикроют, на днях прикроют. Все, что потом-кровью добыто, народное, говорят, достояние... Ах, черти полосатые!.. Ты деньги где держал? В банке небось? Молодо-зелено... Ну, как же, едем? А то того гляди поезда

станут.

– Я не один, – сказал Дима нерешительно.

– Чудак, ты что же думаешь, мы навеки, что ли? Через неделю с хоругвями, с иконами, с колокольным звоном вернемся... Кто у тебя, жена?

– Допустим.

– Женщина? Так бери с собой. Чем больше – тем лучше, веселее. Ты здесь живешь недалеко?

– Она на Охте.

– Далеконько... Ну ладно, садись, доедем...

И, зайдя ненадолго к себе, заперев квартиру, Дима уже ехал на Охту. Грохотов хозяйственно оглядывал улицы, без умолку говорил, желая казаться веселым, заразить своим весельем. Он напоминал цыгана, дирижирующего хором, с печальным видом выкрикивающего зажигательное: «Эй, ходи, молодая!» Какие-то документы из Военно-промышленного комитета помогли сойти за снабженцев, возвращающихся на фронт, и избежать подозрительности патрулей.

Наташу, конечно, пришлось поднимать с постели.

Она не удивилась.

– В Москву? Ну что же, только ненадолго, у меня здесь мебель... Платья тоже не возьму.

Она зевнула и стала одеваться, не стесняясь присутствием Грохотова, разглядывающего ее мимоходом, но с любопытством.

Назад ехали на том же извозчике, Наташа на коленях у

Грохотова. Улицы все еще были пустынные, но на Николаевском вокзале было суматошно и тесно. Крупная взятка открыла им путь на перрон. Поезда, отходившие в Москву, были переполнены. Билетов нельзя было получить, да, по-видимому, огромное большинство пассажиров ехало по документам. Тут же составлялись воинские эшелоны, подавляющее количество суетившихся и оравших людей были солдаты и рабочие-красногвардейцы.

Была единственная возможность уехать – это попасть в международный вагон. Но он свирепо охранялся проводником.

Тут выручил опять Грохотов. Необыкновенная легкость, с которой он умел дать взятку, соединялась в нем с правильно взятым тоном, напористым и шутливым. Проводник уступил свое купе, и они уселись втроем в узком пространстве, стесненные обилием каких-то корзин и чемоданов.

Поезд тронулся. Грохотов, немедленно вытащив из чемодана водку, угощал проводника и Наташу. Выпил и Дима, думая все о том же: что грохотов из кожи лезет, чтобы подогреть настроение, неуверенное и пустое внутри.

Было жарко. Наташа, захмелев, визжала; Дима, не захмелев, чувствовал головную боль; Грохотов, усталый, молчал, но сквозь молчание проглядывала в нем та же неугасимая обида, та же незаживающая надломленная энергия.

Коридор вагона был набит пассажирами. На станции не выходили, лишь из окна наблюдая мелкое оживление, тре-

вожную деловитость, вызванную приходом поезда из забурлившей столицы.

Когда настал вечер, зажгли свечу – и стало ясно, как тесно и неудобно будет спать. Наташа злилась, ругалась – зачем и для чего в Москву, на черта уехали, лучше бы сидеть в Питере и не рыпаться. Грохотов затеял с ней жаркий спор, а Дима, крепясь, подумал в первый раз отчетливо: в самом деле, что делать в Москве? Но поезд несся все дальше, купе же было островком света и тепла среди пустынной жути проезжаемых зимних полей, спор укачивался мало-помалу, и Наташа, склонив голову на плечо Димы и уснув, пригвоздила его к дивану.

Ночью, разбудив всех, вошел смешанный контроль, проверявший документы и билеты.

– Кто такие? – не доверяя грохотовским удостоверениям, спрашивал в матросском бушлате, увешанный гранатами минер.

Грохотов пространно объяснял, Наташа, проснувшись, зло прервала:

– Вы что же, мужчина, не видите? Спекулянт, гулящая девушка и бильярдный игрок... Бильярдные шарики из Питера в Москву от революции катятся... Дальше что?

По-видимому, этот ответ удовлетворил минера больше, чем грохотовская запутанная речь. Вернув документы, мельком взглянув на багаж, захлопнул он двери, и до утра их никто не тревожил.

Солнечный день глянул в окно, как будто хотел сказать: «Ну, милые, как живете?» Под солнцем зашевелились вяло пассажиры в купе, как дождевые черви на горячем сухом песке перед тем, как попасть начинкой на рыболовный крючок. Наташа начала с пудры. Эта будничная забота ее наложила отпечаток скуки на весь день. Только часам к пяти, подъезжая к Клину, заволновались.

– Ну вот, скоро и Белокаменная, – приговаривал Грохотов, увязывая чемоданы.

Сердце Димы дрогнуло. Там, где остановится поезд, ждет его то, что было так невозможно в Петрограде, то, что было так пропущено, – осуществление каких-то надежд... Куда-то придет он и скажет: «Дайте мне оружие». Его ни о чем не спросят, не удивятся, дадут тяжелую и жирную от смазки винтовку, дадут тяжелый подсумок, и он, легко вздохнув, победив свою робость, сольется наконец с неповторяемыми днями, с массой этих людей, по-своему правящих путями жизни... Вот что делать...

Поезд подошел к Николаевскому вокзалу. Сдав лишние вещи на хранение, с легким ручным багажом они вышли на темную площадь, изрезанную окопами. Грохотов только тихонько засвистал, поглядывая на красногвардейские патрули у костров.

Публика шла обходом, переулками. Подчиняясь общему молчаливому потоку, двигались и они.

– Началось и здесь, – угрюмо заметил Грохотов. – Надо на

Тверскую, обязательно на Тверскую, там у меня в «Дрездене» свой человечек, от него узнаем, как и что.

На Тверскую, однако, попасть не удалось. Пришлось бесконечно колесить, натываясь на заставы, обходя проволоку и окопы. Наташа отказалась идти, надо было подумать о ночлеге.

Гостиницы были переполнены. Лишь с трудом разыскали они где-то в меблированных комнатах холодный, нетопленный номер. Улеглись сразу, укрывшись шубами, а когда утром проснулись, во дворе ржал пулемет...

– Ну, скорей, Дима, скорей, – торопил Грохотов, умываясь и фыркая, – время не ждет... Волка ноги кормят!

Холодная вода придала Диме свежую бодрость. Этим утром, этим днем хотелось начать твердый ряд дней. Еще вчерашний вечер покончил с остатком неуверенности, впереди было все ясно. Дима уже чувствовал себя с краю вертящейся воронки водоворота; движение, пока еще медленное, захватило его, но скоро всосет в середину, и Дима отдавался ему с радостным чувством. Жизнь как наново пришла и была дана без всяких условий.

Уходя, Грохотов на минутку остановился в нерешительности – не оставить ли за собой номер.

– Мы не вернемся больше, – сказал Дима, сжигая за собой корабли.

Им удалось быстро выйти из района перестрелки, и они очутились в спокойных сравнительно местах Цветного буль-

вара.

В тени было морозно, но с крыши капало. Дима улыбался навстречу солнцу и вел Наташу под руку, нежно поддерживая, жалея, что она с ним, что вытащил ее из Петрограда в сумятице отъезда. Но она, видимо, была довольна, чувствуя себя гостьей в принаряженном под солнцем городе. Дима же твердо хотел быть хозяином.

По дороге наткнулись на сцену разоружения офицера. Он стоял, прижавшись спиной к стене, с поднятыми руками. Это уже у Дмитровки. Впереди все громче хлопала перестрелка.

– Дальше не ходите, – пугливо, нараспев предупредила какая-то старушка, – пули летают...

Страстная, однако, была полна народу. Военных не замечалось, перестрелка звучала где-то в стороне, и публика расползлась, как тесто, вылезшее из квашни, по Тверской в сторону пустынной Скобелевской площади, где виднелась цепочка людей возле поблескивающего на солнце орудия.

– Пойдем, может, попробуем, – сказал Грохотов, воровски оглянувшись по сторонам.

Наташа взвизгнула щекотливо и схватила его за рукав. Они стали медленно продвигаться среди толпы, становившейся все реже и реже. В конце, где открывалось свободное пространство торцов, стояло двое одетых в кожаные куртки людей, один из них громко убеждал:

– Товарищи, осадите назад. Назад!.. Говорят вам, здесь стрельба. Хотите, чтоб в вас попало? Чудное дело: мешаетесь

зря... Ну, что смотреть? Не видели, как людей убивают?..

Но публика, успокоенная тишиной, не верила и постепенно оттесняла патруль в сторону Скобелевской площади.

Вдруг сверху грохнул выстрел. Патруль моментально исчез, и публика шарахнулась. Сбоку из переулка лопнуло еще два выстрела. Толпа с воем хлынула к Страстной. Давя друг друга, бежали с выкаченными глазами еще за минуту до того спокойные люди.

Дима сразу потерял Наташу и Грохотова. Напрягая все мускулы тела, он остановился, прижавшись к стене углового дома. Улица быстро опустела, и он был уже на виду с двумя-тремя растерявшимися, отставшими зеваками. Со стороны Страстной застучал пулемет, она так же быстро опустела, оставив лишь точки каких-то людей, западавших за тумбы и фонарные столбы. Сквозь грохот выстрелов вдоль по улице протянулись пение и свисты, как будто серпантинные ленты, свистя, разворачивались вместе с полетом пуль.

– Уходи отсюда! – крикнул, перебегая по стенке из подъезда в подъезд, какой-то солдат.

Дима ткнулся вслед за ним, но двери были уже наглухо заперты. Он остановился, переводя дух, собирая силы для того, чтобы перебежать за угол, в переулок. Что важнее всего казалось Диме – это не слышать грома выстрелов, тогда, казалось, не попадет. Он бросился очертя голову – и невредимый проскочил в Леонтьевский переулок. Здесь, осмотревшись, прижимая руку к вздымавшейся груди, он двинулся

осторожно, вставая во все углубления стен, попадавшие по пути.

Пройдя так три-четыре дома, остановился Дима в сравнительно глубокой впадине ворот, собираясь отсюда двинуться уже в открытую по тротуару, как вдруг переулок сразу ожил перестрелкой. Кто и откуда стрелял – Дима не мог сообразить. Он слышал выстрелы с разных сторон, звон разбитых стекол и, прижавшись в угол, не находил в себе силы высушить голову.

Внезапно, протопав тяжелыми подошвами, в ворота влетел портупей-юнкер с винтовкой, а вслед за ним полковник с наганом в руке и биноклем, висящем на ремне, перекинутом через шею. Второй юнкер, пробитый пулей, с размаху упал на тротуар, не добежав. Ноги его мерно колотили камень, руки трепетали, и он перевернулся навзничь, стихнув, открыв залитое кровью лицо.

– Ты что здесь делаешь? – строго крикнул полковник, но, поняв все по виду Димы, не ожидая ответа, отвернулся и выглянул наружу.

Сразу грохнули выстрелы, и отбитая штукатурка брызнула о листовое железо ворот.

– Прохвосты! – полковник отшатнулся.

Дима разглядывал его сизый затылок, поросший короткими, с сильной проседью волосами. Полковник повернулся лицом, худощавым, не бритым уже несколько дней, усталым, но молодо выглядевшим под румянцем мороза.

Затем взгляд Димы отяжелел и склонился книзу. Там, на тротуаре, рядом с убитым лежал предмет, привлечший его внимание, – винтовка. Он отводил глаза, но они упорно возвращались к этому стройному телу поблескивавшего оружия. В его очертаниях не чувствовал Дима ни тяжести, ни существа свойств, а лишь угадывал таинственные силы, дающие вооруженному человеку осуществление огромной власти над жизнью другого. Соблазн породниться с ними овладел им безраздельно; он чувствовал себя остро, как никогда, судьей людских дел, вершителем судеб этого куска жизни, сгустившегося в уличном бою на Леонтьевском.

И в эти секунды, когда жизнь самого Димы получала последние ускорения, все разворачивалось и росло так быстро, что каждый следующий миг Дима становился новым человеком, совершенно отличным от прежнего.

– Дайте винтовку мне, – вдруг попросил он, наполнившись удивительной решимостью.

– Что? – не расслышал полковник.

– Дайте винтовку мне и скажите, куда стрелять, – крикнул Дима с нарастающей холодной бодростью.

Полковник испытующе взглянул на него, на дорожную шубу, на котиковую шапку.

– Пожалуй... Дорога каждая помощь... И господь вас храни!..

Быстрым движением он подтянул откатившуюся на тротуар винтовку убитого. На руке протянутой руки полков-

ника виднелись четыре нашитых полоски галуна – знаки ранений и контузий.

– Цельтесь по окнам серого дома на той стороне, они там. Вы штатский?.. Заряжать умеете?

– Умею, – отрывисто сказал Дима, схватив винтовку.

Он выдвинулся слегка и, увидев в окне второго этажа человека в папахе и бекеше, вложил приклад в плечо. Человек, высунувшись из окна, целился маузером в сторону. Дима спустил курок, и маузер тут же, закачавшись упал, а человек свесился с подоконника вниз головой и руками, как будто ему подавали что-то снизу и он, протянув руки, хотел достать и поднять к себе.

– Молодцом! – крикнул полковник. – Я думал – вы совсем шляпа.

Собственный выстрел и оглушил Диму и отдал сильно в плечо. Дима и отшатнулся, ошеломленный выстрелом, результатом его и терпкой похвалой полковника.

«О смелый аргонавт!..» – вспомнил он с ужасной душевной болью.

Но винтовку крепко держал в руках и ни за что на свете не отдал бы ее...

Вдруг Диме захотелось чихнуть. По старой привычке он поднял руку и сильно нажал верхнюю губу – по правилам бой-скаутов... Действительно, желание прошло, Дима не чихнул.

Прижавшись к стене, он мучительно резко переживал сра-

зу и одиночество свое, и отголосок огромного сострадания к затерявшейся в толпе Наташе, и познанную в этом сухом прыжке винтовки, вложенной в плечо, технику уничтожения...

Между тем кругом продолжали беспорядочно и настойчиво хлопать выстрелы. К глазам Димы тянулись лучи от всех пятен, от всех домов, равно ценные и зримые сразу. Так, углом зрения заметил он на невысокой крыше кошачьими движениями пробегавшую фигуру с красной повязкой на рукаве, но продолжал, несмотря ни на что в отдельности, созерцать как-то всю совокупность того, что было доступно наблюдению, не переставая в то же время следить за фигурой. Винтовка Димы была пуста, и он дрожащей рукой вложил новую обойму, – пули показались ему черными... Когда же солдат припал к трубе, Дима опять поднял винтовку, взгляд его вдруг заострился на куске серого сукна, видного из-за кирпича, он измерил положение взглядом игрока – точнее этого взгляда нет ничего в жизни, – подвел мушку. Солнечный отблеск играл на ней, она, поднимаясь, должна была вот-вот заслонить серое пятно, но в какой-то ничем, кроме собственного чувства, не указанный миг Дима спустил курок, – солдат развернулся во весь рост и упал на крыше за трубой.

– Ааа... – завыл потихоньку Дима, осматриваясь.

Теперь только для него стало ясным все, что он сделает сегодня. Он улыбнулся, сначала искаженно, потом в движе-

нии своих губ почувствовал что-то напоминавшее ему Наташу, почувствовал, что улыбка его проста и счастлива, как у Наташи...

Тем временем, сделав перебежку, в ворота с новым грохотом ворвались юнкера и поручик с забинтованной головой.

– Двое вперед, за мной! – крикнул одушевленный полковник, взмахнув наганом. – Остальные прикрывайте! Чаше, чаще стреляйте, господа, надо показать, что нас здесь много... За мной!

Юнкера, бросившись наземь, стреляли лежа. Дима, припав на колено, выстрелил по оконным стеклам. Полковник бросился вперед.

Дима проследил его путь до следующих ворот. И когда он оглянулся, готовый скрыться, Дима, рванув винтовку, выстрелил в него навскидку, как бьют птицу в лет. Затем, не чувствуя себя, стремясь безвольно и бездумно вперед, он подбежал к нему – увидеть дело рук своих.

Страшным, внезапно до смерти утомившимся взглядом смотрел на него с земли лежавший полковник, как бы не узнавая. Дима видел, как он медленно целится в него наганом, но не остановился, с расширенными зрачками подходя и вглядываясь в его лицо...

Полковник был строг и честен. Он никогда не играл на мелок, возвращая проигрыш тут же, полностью.

Выстрела Дима не слышал. Только резкая судорога пронизала его затылок. Не дойдя до полковника, он повернул,

описал круг, еще полкруга, завертелся волчком, как посланный с оттяжкой бильярдный биток, и, закатив зрачки, упал.

# Сергей Семенов

Сергей Александрович Семенов (1893 – 1942), выходец из рабочей семьи, в «Автобиографии» писал о своем пребывании в рядах Красной армии: «Лил свою и чужую кровь. Был почти на всех фронтах... принял под Кронштадтом ледяную ванну и демобилизовался с испорченным правым легким». В своем творчестве Семенов стремился с максимальной точностью, а порой и с полемической заостренностью, отобразить чувства и настроения людей той бурной эпохи. Не избегал описания всякого рода противоречивых и болезненных явлений. Горький писал, что у Семенова «очень оригинальный талант, несколько зависимый от Кнута Гамсуна, – хорошая зависимость, на мой взгляд!» В годы войны Семенов командовал писательским взводом ополченцев. Умер в прифронтовом госпитале от крупозного воспаления легких.

# Голод

*25 апреля 1919 года.*

Я очень люблю Петроград! Из окна вагона уже видны трубы, церкви и крыши, крыши, крыши. И над всем протянулось огромное, дымное небо. Господи, как бьется сердце! Сейчас, сейчас приеду!

Выскочила на перрон и сразу растерялась. Все кричат, бегают, суетятся. У меня с собой немного продуктов. Везу для голодного папы, а у проходных весов, кажется, реквизируют. Вокруг милиционеров столпилась целая куча. Плачут, ругаются. Неужели у меня тоже реквизируют?

Слава Богу! Через весы проскочила благополучно. Господи, как же это? На вокзальных часах уже без десяти шесть! А трамвай ходит только до шести. Мне же далеко!.. В Гавань!.. Успею ли?

Бегу через вокзал и никого не вижу. Толкаю всех без разбора. И чувствую, чувствую, как сзади позорно треплются мои жалкие две косички. Наверное, все смеются. А я еще в шляпке... Еду в Петроград, чтобы служить. Мне уже пятнадцать лет.

Как сумасшедшая, выбежала на Знаменскую площадь. Какие эти мальчишки нахалы! Так и пристают. Барышня, барышня, пожалуйста тележку!

– Ну, вы, оголтелые, пошли прочь! Вишь, барышню совсем закружили.

Поднимаю глаза и благодарю чуть не со слезами.

А лицо простодушное, широкое и румяное. Глаза замечательно добрые. И большая, русая борода. Наверное, не обманет.

– Давайте, барышня, донесу. Не сумлевайтесь, все будет в аккурат... Пожалуйте на трамвай.

– Благодарю вас, благодарю. Мне на пятый номер. Не знаю, куда... Пожалуйста... Господи, куда же вы меня сажаете? Мне же в Гавань!.. А этот куда? куда?

– Скорей, скорей, барышня! Последний прозеваете. В аккурат этот самый!.. На Васильевский!..

Слышу, на площадке говорит кто-то:

– На Васильевский, на Васильевский этот...

Слава Богу, попала. Гляжу, а мужик протягивает руку:

– На чаек-с, барышня.

И, конечно, я покраснела. Всегда, всегда краснею, когда даю кому-нибудь деньги. Вот глупая-то... Сколько же дать этому... товарищу?

Покраснела еще больше и протягиваю двадцатирублевую керенку.

– До... до... довольно?

Господи! Все лица на площадке заулыбались. Поглядывают на керенку в протянутой руке и улыбаются. Конечно, конечно, даю очень много!..

А товарищ вдруг:

– Маловато-с, барышня.

Ах, какой он нахал! И лицо совсем не добродушное, а хитрое. Противная публика смеется еще больше. Господин в пенснэ посмотрел, нахмурился и отвернулся. А товарищ все протягивает руку.

Ищу в кошельке еще керенку, и пальцы дрожат. Господи, все смеются надо мной, а я стою красная, красная. Протягиваю еще одну:

– Сдачи... сдачи у вас нет?

– Нет-с, барышня.

Противный! Он еще смеется. Щурит глаза и смеется.

– Нет, нет... ради Бога, возьмите... не надо сдачи.

Едем по Невскому. Какой он стал печальный, безлюдный. Милый, родной Невский. Говорят, люди умирают на ходу от голода. Господи, как же я-то буду жить? Очень голодает папа или нет?

Уже Николаевский мост. Вот Пятая линия. Сейчас, сейчас.

Звоню изо всей силы.

– Кто там?

Ах, какой сердитый, раздраженный голос! Это – Антонина. Наверное, она голодная. А я почти ничего не везу...

– Тонечка, милая, открой... Это я... я... Неужели не узнала?

С размаху бросилась ей на шею. Целую и плачу. Странно!

Почему же я так обрадовалась ей? Она совсем чужая. Жена брата. И нехорошая, черствая. Шея у ней костлявая. И теперь-то она не рада мне. Чувствую это сквозь свои слезы. А все почему-то целую, целую.

– Привезла чего-нибудь?

– Ах, Тонечка, извини, хлеба не привезла. Даже сама всю дорогу голодная ехала. Вот тут в мешке остался еще кусок, да крошки... я сейчас, Тонечка...

А Тонька смотрит тяжело и неприязненно на меня и очень любопытно на мешки. Наверное думает, что мама нарочно ничего не хотела послать из деревни. А у нас ведь и у самих не было хлеба; на одной картошке сидели... Ах, как она смотрит жадно и нехорошо! У меня даже руки трясутся. Лихорадочно развязываю мешки и высыпаю крошки на стол в кухне. Развязываю еще, еще.

– Вот мама прислала немножко грибов сушеных для папы и Шуры... масла немного... да творогу. А больше и для папы ничего нет.

Антонина совсем разочарована, но говорит:

– Ну, ну, нам и не надо. Мы не нуждаемся. Вот только папка голодает. Ворчать будет, что ничего не привезла.

– Как? Вы не голодаете, а папка голодает? Разве вы живете отдельно?

– Да, да... И все это папка выдумал. Ты еще не знаешь, какой он стал скупой! Уходит на работу, а комнату свою на ключ запирает. Словно мы воры. Ну, ладно, пойдем в ком-

нату чай пить.

Господи, как заныло сердце. Разве можно так жить между собой родным? Неужели папочка такой скупой стал? Восемь месяцев не видала его. Если такой скупой, то как-то меня встретит?

Вхожу в комнату, а на кровати сидит Тamarочка. Только что проснулась и в одной рубашечке. Коленочки розовенькие и с ямочками.

– Тamarочка, Тamarочка, ангел мой! Это я, тетя Фей! Узнала тетю? Тонечка, гляди, ведь она – ангел?.. Ангел ведь?..

Я очень люблю Тamarочку. Верчусь с ней по комнате, как бешеная. Вдруг входит Александр.

Увидел меня и как будто обрадовался. Господи, какой он худой и бледный! Я знаю, что он любит меня больше других, а я всегда груба с ним. И я люблю его, но он какой-то забитый и жалкий. Самый старший из братьев, а как-то глупый.

И теперь, как увидела его исхудалое лицо, сразу стало очень жаль. А поздоровалась, как всегда, небрежно и, вместо приветствия, спросила:

– Ты еще на место не поступил?

Я знала, что он смутится. Какой у него убитый вид! Наверное, каждый день донимают его этим вопросом. И я еще... Ах, какая я!.. Бедный, бедный Александр! Он обиделся и ушел из комнаты.

Антонина режет с полфунта хлеба на очень тоненькие

ломтики.

– Садись пить чай. Вот только хлеба вчера не успели кушать. А так мы не нуждаемся.

Глаза у ней опущены на хлеб и совсем не смотрят на меня.

– погоди, Тонечка, не надо мне хлеба. У меня ведь на кухне остались крошки, да еще кусок... Сейчас я принесу...

– Да ну уж, чего тут! Ешь мой. Мы не нуждаемся.

– Нет, нет, я сейчас.

Побежала на кухню. Господи, где же хлеб? Кто-то съел! Вот тут, тут был сейчас. А теперь нет.

– Тонечка, Тонечка, пойдика сюда... Где же хлеб? Вот тут был сейчас, и кто-то съел...

Антонина прибежала сердитая.

– Да кто же? Я не знаю. Наверное, Шура...

– Александр? Не может быть! Да неужели он такой голодный? Ах, вот он и сам!

– Ты съел хлеб?

Молчит. Но я и так вижу, что хлеб съел он. Такой большой... Двадцать пять лет, а губа дрожит нижняя. И жаль, и хочется разорвать его.

– Я не знал. Я думал, хлеб ничей.

– Как ничей? Неужели ты не мог подождать, пока не сядем пить чай? Не стыдно! Не стыдно! Ведь все есть хотим.

– Да много ли его было-то?

– Много не много, а должен подождать.

Александр смутился окончательно. Он не знает, что гово-

ритель. Мне жаль его. Но перед Тонькой стыдно, и я кричу на него. И самой стыдно, а – кричу.

Тонька смотрела, смотрела и вмешалась.

– Брось его, Фея. Он в самом деле голодный. Папка его на диете держит. Ладно, у меня хлеб есть, идем пить чай.

Сердце словно заплакало. И даже на глазах чуть-чуть не проступили слезы. Едва удержалась. Бедный, бедный Александр! Папа его голодом морит. Господи, какой он жестокий стал! Александр даже похудел, и глаза провалились. Как-то я буду жить с папой?

А за чаем Тонька рассказывает. Лицо строит сердитое, а глаза смеются.

– ...Уж не знаю, как ты и жить будешь с ним? Очень скупой стал! Я уж не считаюсь куском хлеба, и Митюнчик мой не считается, а он запирает от нас комнату. Воры мы, что ли? А вчера, знаешь, у нас тоже не было хлеба. А у него был. Я зову его обедать к нам и спрашиваю: хлеб, папа, есть у вас? У нас сегодня нет. А он взглянет так зверем: «есть», – говорит. И несет из комнаты большой кусок. Отрезал нам всем по малюсенькому ломтику и опять унес. Так это мне обидно показалось, ты и представить себе не можешь. Разве я и Титюнчик так с ним поступаем?..

Я слушала, а сердце так и замирало от боли, обиды и страха. Ужас, ужас какой! Он и меня будет морить голодом. Скорей бы мама приезжала из деревни. Тонька тоже ненавидит меня. Наверное, она радуется, что рассказывает про это. Ну,

да ладно, я буду веселая.

И я начинаю тоже рассказывать. Ах, как я весело ехала! всю дорогу до Вологды провожал Френев. Френев – мой жених. Мы в Вологде даже поцеловались. Но что это Александр не ест хлеба? И вид у него робкий, словно не смеет.

Вопросительно взглядываю на него.

И сразу Тонька догадалась. Нахмурила свои бровки и говорит:

– Ешь, Фея, и вы, Шура, берите!

Верно, верно! Шура не смел взять без спросу. Фу, как некрасиво он ест! И старается, чтобы не заметили; хочет быть развязным.

Делает вид, что не обращает внимания на хлеб и спрашивает:

– А мама скоро приедет?

– Скоро. А что?

Он жалко подмигивает глазом и чавкает:

– Вот и скоро... Да, да, вот и скоро.

И сам берет еще кусок, еще и еще.

Тонька следит за каждым куском. Даже противно, и жаль Александра. Я говорю ему глазами, чтобы перестал есть. Но вдруг мне стало стыдно. Он, бедный, наверное и сам чувствует, что много ест, да он голоден и не может удержаться, когда хлеб на столе. Слава Богу, он уходит!

Тонька провожает его злыми, карими глазами. Потом смотрит на меня. Что-то она еще скажет?

– ...И знаешь, еще... Папка ужас какой неопрятный стал.

Овшивел весь...

Смотрю на нее широкими глазами. Господи, еще этого не хватало! Больше не могу делать веселое лицо и кричу возмущенно, прямо в ее вытянутый, острый, длинный нос:

– Что ты? Не может, не может быть!

– Да как, дура, не может, когда раз в месяц в баню ходит.

Понимаешь, жалеет денег даже на баню. Ну, они и заводятся. А тут еще голодно. По полу, по стульям так и ползают. Я Тamarочку не пускаю.

Поднимается брезгливое чувство к родному отцу... Фу, фу, гадость! Ни за что не лягу с ним в комнате! Лучше у Тоньки на полу. И как он дошел до этого? Ведь так я буду его ненавидеть.

– Тонечка, милая, я у тебя буду спать. Я не могу с ним.

А Тонька опускает глаза на стол. Страх хватается за сердце. Неужели не позволит?

– Да у нас места нет. Видишь, как все заставлено.

– Я, милая Тонечка, на полу где-нибудь.

– Ложись. Но у нас места нет.

Она опять рассказывает про папу. Двадцать раз повторяет, что он не доверяет родному сыну: запирает комнату. А сам живет впроголодь. И хлеб есть: с завода получает достаточно. Даже запасы скопились, и хлеб заплесневел. Селедки тоже вонять стали. А Александра совсем морит голодом. Если б она его не прикармливала, он ноги протянул бы. И все

потому, что он не может получить места. Завтра как будто обещали место младшего дворника в Европейской гостинице.

Вытянула шею и слушаю жадно. Уже не брезгливое чувство, а боль поднимается за папу. Господи, как голод его исковеркал! С восемнадцатого года – голод, голод и голод! Хорошо, что завод опять работает, а то совсем было бы плохо. И по письмам в деревню было видно, что папа изменился. Писал, чтобы приезжали, но между строчек было видно, что не хочет этого. Мама тоже скоро приедет. Как-то мы все будем жить с ним?

Звонок.

Тонька срывается с места. Сразу чувствую свое бьющееся сердце. Оно бьется со страхом. Это – папа.

Бегу за Тонькой на кухню. Она уже отпирает дверь. Гляжу во все глаза, и сердце бьется, бьется...

Входит.

Что-то как будто ласковое пробегает по худому, усталому лицу.

– А, ты приехала? А как мама?

– Да, папочка. Здравствуйте.

Странно, почему же я его не поцеловала? Никогда этого не бывало раньше. Даже когда он руку пожал, сердце зашевелилось от неприятного чувства. У него вши, вши... А смотрит как будто ласково. Только над левым глазом бровь дергается. Как нехорошо она дергается. Да, да, не верю, что

у тебя ласковое лицо. Нарочно ты, нарочно... Скупой ты... Александра голодом моришь. И меня будешь. И вши у тебя.

Да, я не ошиблась, и Тонька верно говорила: папа сразу продолжает:

– А у нас Шурка еще без места, вот как мы живем. Ох, Господи!

Обидно стало от этого тона и от этих слов. Ну, конечно, прямо-то ему стыдно сказать родной дочери, так предупреждает обиняками. Ладно, не буду твоего хлеба есть. Скорей бы только на место поступить.

– Папа, идите с нами пить чай.

Это зовет Тонька.

Перед чаем папа вытаскивает из кармана свой хлеб. И мне кажется, он вытаскивает что-то из моего сердца. Оно ноет оттого, что он режет такие аккуратные, тонкие ломтики. Вот отрезал себе... Шуре... А мне-то где? Что же это такое?

А он вдруг говорит:

– Ты, наверное, сыта после деревни? Ведь не голодная же ехала?

Кровь бросилась в голову. Чувствую, что глаза заблестели ненавистью, и прячу их.

– Да, сыта.

– Ну, вот и хорошо. А мы тут голодаем.

Отрезал и завертывает хлеб в газету. Потом убирает в карман.

Смотрю из-под ресниц, как он двигает исхудалыми паль-

цами, и больно за него, и жаль его, и – ненавижу. Как страшно он изменился! Какими скучными движениями завертывает хлеб в бумагу. Как неприятно сует его в карман.

– Ну-ка, пойдём спать.

Опять он смотрит на меня как будто ласково, а мне вдруг стало страшно. Спать с ним в одной комнате? Господи, да я боюсь его теперь! И ещё эти вши...

– А вы где спите, папочка?

– Да у себя в комнате. Разве ты не была? Пойдем, покажу.

Изумленно взглянула на него. Ещё новая черта: лицемерит со мной. Разве он забыл, что комната заперта?

Вошли.

С ужасом переставляю ноги по полу. Наверное, тут все вши. По углам стоят две кровати. Ага, мне, значит, негде.

– Папочка, тут негде. Я не буду беспокоить вас, я лучше у Тони.

– Не валяй дурака, там тоже негде.

– Да я на полу у них устроюсь.

– Говорят тебе: не болтай глупостей. Ложись, где велят.

Тон грозный. Он рассердился не на шутку. Пожалуй, и выгонит. Теперь можно всего ждать.

Мне освободили одну кровать, а сами легли вместе.

Через десять минут папа тяжело и неприятно храпит. Я лежу, уткнувшись в подушку лицом и горько плачу. Господи, Господи! Вызвал меня в Петроград. Говорит, хлеб нужно зарабатывать самостоятельный. Не дал даже окончить пято-

го класса гимназии. Оторвал от школы грубо, безжалостно. Трих недель доучиться не позволил. В деревню писал, что все на его шее сидят. А какой стал скупой, вшивый, черствый! Александра голодом морит. И меня будет, если скоро не поступлю на место.

Уже засыпая, слышала через стену, как пришел Тонькин Митюнчик. Он мой брат. Ему двадцать лет. Я его не очень люблю.

Потом за стеной долго говорили о чем-то. Упоминали мое имя. Я не расслышала – почему, но сердце сжалось и заняло тоскливо. И вдруг, как плетью по обнаженному мясу, хлестнула фраза, осторожная, но ясная:

– Хоть бы поскорее вшивые убирались. Еще матка придет, совсем жрать нечего будет.

И сразу завозился спящий папа. Неужели он слышал все за стеной и мои слезы?

А по темноте уже сонно пополз его страшный, глухой голос:

– Комнату завтра запирать не буду... Смотри.

Колючее отвращение забегало по телу. Даже ноги свело, и судорожно стиснули зубы подушку.

Господи, какой ужас! ужас! ужас!..

*26 апреля.*

А ночью снились голубые сны.

Снился Сергей Френев. Опять провожал всю дорогу до

Вологды. Потом прощальный поцелуй после третьего звонка. Бросилась на грудь и бессвязно бормотала:

– Сергей, Сергей, не думайте дурно о мне. Через два года я буду вашей женой.

А он смотрел так нежно, нежно. Поцеловал только в лоб и сказал грустно:

– И ты не забывай меня, маленькая Фея. Не забудешь? Нет?

– Нет, нет, Сергей, никогда!

Он соскочил на ходу. Долго стоял и махал фуражкой. И все во мне играло:

– Он любит, любит меня, почти девочку, с моими маленькими косичками!

Проснулась оттого, что кто-то тянул за волосы.

– Феюсенька, тавай...

Встрепенулась и вижу Тamarочку. Тянет меня за волосы, да и все тут.

Вскочила радостная. Зацеловала Тamarочку и вдруг вспомнила все вчерашнее.

Лихорадочно пересмотрела белье. И в самом деле: две, две... Ну, слава Богу, еще не так много. Тонька, по обыкновению, преувеличила. Скажу ей, чтобы не врала.

На столе лежит ломтик хлеба. Это, очевидно, моя утренняя порция. Однако какая маленькая. С'ела, и, как будто, ничего. Если так каждый день, то будет не особенно сладко.

Оделась и бегу к Тоньке в комнату.

– Ты что же меня напугала? Только две...

– Две? Ну, ладно, покажу после чая.

Я знаю, почему меня Тонька и сегодня угощает чаем: пока я не на службе, мне придется няньчиться с Тamarкой. Она сама служит в почтамте, и у ней то утренние, то вечерние занятия. Митя тоже служит в почтамте. У него занятия утренние. Он уже ушел.

После обеда Тонька ведет в папину комнату. Тamarочка бежит тоже.

– Смотри.

Она не глядя водит двумя пальцами по шерстяному одеялу и через секунду вытаскивает крупную, серую вошь.

– Видишь? Ну, что?

Лицо ее искажается. С сладострастным напряжением в глазах давит вошь на полу.

Я – ни жива, ни мертва. Тонька поворачивается и говорит торжествующе:

– Вот каких кобыл завел.

– Тоня, не надо, не надо, я не могу.

Мы и не заметили, как Тamarочка подошла к самому одеялу. Подошла и кричит:

– Ой, безыт, безыт!..

В три часа Тонька собралась на службу. Уже в шляпке, она что-то долго ходит вокруг меня. Вижу: хочет что-то сказать и не решается. Ага, говорит!

– Ну, оставайся с Богом, береги детей. И вот еще что, Ми-

тюнчик никуда сегодня ходить не должен и... если пойдет, спроси – куда?.. И заметь, в какое время.

Говорит, а глаза не смотрят на меня. Куда-то в сторону. Фу, чорт, да она ревнует его! Еще не легче. Как это низко! Я не стала бы ревновать, если бы у меня был муж. Прямо сказала бы: «раз мы различны – разойдемся». Мне противно на нее смотреть, и не знаю, что сказать. А она опять говорит:

– Ну, так сделаешь?

Я тоже не смотрю на нее, но сквозь зубы отвечаю:

– Ладно, ладно, иди.

Ушла и сразу за ней явился Шура. При дневном свете вид у него еще больше измученный, робкий. Под провалившимися глазами тени. Что-то теплое потекло по сердцу. Говорю ему мягко:

– Ну, как твои дела?

Шура посмотрел как-то боком.

– Послезавтра на службу, младшим дворником в «Европейскую» гостиницу.

– Слава Богу. А какую карточку будешь получать?

– Ударную, 3/4 фунта хлеба... Ах, Фея, если бы ты знала, как хочется есть!..

Сказал и нахмурился. Потом отвернулся в сторону. Потом опять посмотрел на меня. Глаза сделались, как у ребенка, – жалобными, просящими. Но где же? У меня самой ничего нет. Наверное, он думает: «привезла хлеба из деревни и спрятала где-нибудь»...

– Да что же я тебе дам? Ничего нет.

– Папа разве тебе ничего не оставил?

– Ничего. Ах, подожди... кажется, что-то видела в кухне на окне. Пойдем вместе, посмотрим.

На окне нашли вареную свеклу и картошку. Обрадовалась страшно, но смотрю: свекла полугнилая, а картошка мерзлая. Ах, папа, папа... Верно Тонька говорила: гноит продукты. Какой скупой! Противно даже. Говорю Шуре чуть не сквозь слезы:

– Да тут, Шура, все гнилое.

Он посмотрел и улыбнулся так, что мне плакать захотелось.

– Да мы и всегда гнилое едим. И этого-то не дает досыта. Смотри, тебе попадет за то, что и это с'едим.

– Ничего, ешь. Я не боюсь его.

– А сама-то?

– Я... я не хочу...

На самом деле я не не хочу, но меня просто тошнит от этой гнилой свеклы и картошки. А Александр ест жадно, жадно... Я... я бы не могла есть такой свеклы...

Через час после того, как ушла Тонька, пришел Митя. Лицо розовое, сияющее и самодовольное. Верно Тонька говорила, что они не нуждаются в хлебе. И как не стыдно, что не помогают Шуре?! Ведь брат же он!

Увидя меня, сказал небрежно:

– Приехала, Феюша?

И все.

Потом, не раздеваясь, походил вокруг меня и осторожно спросил:

– Тоня на службе?

– Да.

– Феюша, мне надо с тобой поговорить.

А я уже знаю, о чем он собирается говорить, и смеюсь:

– Ой, Митюнчик, смотри!..

Он тоже засмеялся. И почему он не чистит свои зубы? Говорит ухарски:

– Ничего не поделаешь, Феюша. «Она» ждет... Так ты скажи Тоне, что я ушел ее встречать.

Он смотрит на меня, как на девчонку. Я чувствую это и вся раздражена, но отвечаю, как девчонка. Сознаю, что не хорошо же обманывать друг друга. Разошлись бы лучше. Но ему говорю:

– Иди, иди, что уж с тобой делать?

А вечером у них разыгрался скандал. Тонька кричала, как бешеная, и приплетала меня:

– Нехорошо, Фейка, нехорошо: не успела приехать – начинаешь врать... Девчонка испорченная...

Я тоже кричала, сердилась на обоих и со злобой топала ногой:

– Я не при чем, не при чем, не при чем...

*27 апреля.*

Я ошиблась: вчера утром папа оставил на столе не утреннюю порцию, а на весь день. Папа получает по гражданской карточке, как рабочий, 1 1/4 фунта хлеба, да еще какой-то бронированный паек: 1/2 фунта за каждый проработанный день. Я еще пока не имею карточки, и из этого полуфунта папа уделяет мне кусочек на весь день. Говорит, что больше не может. Сам он обедает в заводской столовой. Я пока обедаю у Тоньки, но она смотрит косо. Еще никогда мы не жили так, чтобы каждый кусок делился. Наверное, все от этого и смотрим так, что готовы перегрызть горло друг другу.

Александр получает в день 1/2 фунта хлеба. Он также имеет столовую карточку. Вечером готовим, отдельно от Тоньки, ужин: селедку с картошкой и свеклой.

Оказывается, та свекла и картошка, что я вчера отдала Александру, была приготовлена на ужин. Папа строго спросил меня: «где она?». И больше ничего не сказал, за то мы все сидели без ужина. Уходя сегодня утром, он запер все на ключ.

Митя обещал для меня найти службу в почтамте. Поскорей бы... Папа напоминает каждый день, что я приехала не баклуши бить, а служить и помогать ему кормить семью.

Господи, как тяжело все это, когда вспоминаю, что надо бы учиться! Лягу спать и плачу...

*28 апреля.*

Совсем уже примирилась с мыслью, что папа стал ску-

пой, черствый и заботится только о себе, но сегодня он меня страшно удивил.

Вечером принес из заводской лавки фунтов шесть хлеба. Александр весь день жаловался на голод, но ничего не просил. Он знал, что все на запоре. Ноет сердце, а дать ему нечего.

Как только пришел папа, я говорю:

– Ох, папа, как хочется есть.

У папы сразу нахмурились брови, но сказал все-таки:

– Иди, приготовь селедочку.

И сам провожает меня на кухню. Сам отпер шкаф и достал селедку и свеклы вареной. У него этой свеклы заготовлено, кажется, на неделю. И даже сварена вся.

Хочу мыть селедку, а от нее запах. И свекла полугнилая, как вчерашняя.

– Ой, папа, да это все гнилое...

Папа не смотрит на меня и говорит наставительно:

– Не гнилое, а приморожено только. Не бросать же теперь... За все деньги плачено.

Ну, что же? Не бросать, так не бросать. Приготовила, и все сели. От свежего хлеба папа отрезает по ломтику мне и Александру.

Конечно, быстро с'ели. Папа вдруг спрашивает ласково, ласково. Он ведь лишний кусок хлеба дал...

– Ну, что, сыта?

Я чуть не подавилась этим вопросом, так стало противно.

Если бы могла, вырвала бы у себя из горла с'еденный кусок и бросила бы ему обратно. Со злобой говорю ему:

– Нет.

А он не ожидал и посмотрел строго, внимательно. Ничего не сказал. Молча отрезает мне еще кусок и завертывает хлеб в бумагу. Александру второго куска нет. Мне стыдно перед ним с'есть лишний кусок. Посмотрела на него, а Александр отвернулся и глядит в окно. Жаль его до слез. Не дотрагиваюсь до своего куса и говорю папе:

– А Шуре?

Александр все еще глядит в окно.

У папы что-то бегают по лицу и не смеет выпроситься на язык. Без слова развернул хлеб и отрезал Александру. Александр, не глядя на хлеб, поспешно взял и ушел на кухню.

Только что он ушел, лицо папы мгновенно изменилось. Он смотрит с какой-то странной укоризной и вместе с тем торжествующе. Не дождавшись от меня выражения любопытства, вдруг вытаскивает из кармана фунта 1 1/2 белого хлеба и показывает мне на него глазами. Потом говорит вслух:

– По карточкам... белый... хороший...

Режет на две части: побольше – себе, поменьше – мне, и все смотрит на меня с торжествующей укоризной. А у меня краска заливает щеки. Хочу сказать: «стыдно, стыдно, ведь сын же он тебе», и сама не знаю, что обезоруживает меня. Ладно, потом я отдам ему половину от своего куса.

А папа как будто угадал мои мысли:

– Ты сыта сегодня?

– Сыта.

– Так давай, я спрячу. Завтра лучше с чаем с'ешь.

*29 апреля.*

Первое воскресенье.

Александр у нас остается последний день. С понедельника он уходит на службу и жить у нас не будет.

Папа сегодня ушел с утра. И мне кажется, для того, чтобы я не попросила лишний раз есть. Даже обидно и горько от этого. После обеда к Мите пришел гость – Николай Павлович Яковлев. Я его знаю.

Не вытерпела и зашла к Мите в комнату. Ведь Николай Павлович – моя первая любовь. Я любила его два года, пока не встретила Френева.

Господи, как изменился Николай Павлович за эти восемь месяцев! Худой, бледный, глаза красные от малокровия. Голова выбрита совсем гладко. Он мне писал в деревню, что теперь увлекается богоискательством. И голова, наверное, выбрита оттого. А жаль, – раньше у него были роскошные волосы. И голос роскошный тоже. Как хорошо он песни пел для меня...

Теперь лицо у него спокойное, глаза кроткие. И, вообще, стал как-то некрасивее.

Обрадовался мне ужасно. Весь просветлел даже. Трясет

за руки и заглядывает в глаза.

– Вы, вы приехали... учиться, конечно? Ну, как жили в деревне? Как Сережа?

Он спрашивает не о Сергее Френева. Николай Павлович Френева не знает. У меня есть еще брат Сережа, он теперь на фронте. Сережа – лучший друг Николая Павловича.

И сейчас же я растаяла от его участливого тона. Тороплюсь высказать все. И что меня оторвали от ученья, и что я все-таки намерена учиться... Но противный Митюнчик, сияя своей самодовольной, насмешливой улыбкой, хочет срезать меня:

– Какое уж теперь совместное обучение?! Наверное, всю флиртуете с гимназистами?! Записочки пишете?

Я знаю его привычку всегда относиться ко мне пренебрежительно, и терпеть не могу его за это. Что я, в самом деле, девочка, что ли? Вспыхнула сразу и наскочила на него:

– И неправда, и неправда... Может-быть, первое время и было, пока не привыкли. А потом учиться все стали. А я... я совсем не увлекаюсь мальчишками.

Вижу, Митюнчик посмотрел на меня ехидно так и спрашивает:

– А кем же ты, Феюша, увлекалась?

Митюнчик и не понимает, что я нарочно вызвала этот вопрос. Для того, чтобы поддразнить Николая Павловича. Ведь не только я любила его два года. Кажется, и он любил меня немножко. Чуть-чуть взглянула на него и нарочно смущенно

отвечаю:

– Я... я – только учителями.

Митюнчик во все горло захохотал.

– Ну, еще чище! Я так и знал. Эх, ты, Феюша. Все вы на один покрой шиты.

Николай Павлович тоже чуть-чуть улыбается, и мягко так, хорошо.

– А как же в будущем, Фея Александровна? Думаете учиться?

– О, о, Николай Павлович, обязательно!

И тут Митюнчик с'ехидничал.

– На словах, Феюша, – да, ведь?

– И ничего подобного, вовсе не на словах. Буду, буду, буду.

– Ну, а служить-то как?

Служить как? Я и не знаю как, но милый Николай Павлович приходит на помощь. Сложил руки на колени, и ласково смотрит на меня.

– И служить, и учиться можно. Чего же тут особенного?

Я всегда волнуюсь, когда Митюнчик донимает меня этим самодовольным, небрежным тоном. Всегда как-то теряюсь и не знаю, что отвечать. И с досады чуть не плачу. Спасибо теперь Николаю Павловичу. Выручил. Кричу Митюнчику прямо в смеющиеся глаза:

– И верно, верно Николай Павлович сказал. Буду служить и учиться.

Митюнчик прехладнокровно отвечает:

– Вот как, Феюша.

Достал папиросу, поколотил ее о палец и заговорил:

– Ну, предположим, ты будешь учиться. Окончишь школу второй ступени. Предположим даже, что поступишь в университет. Ну, а дальше что?

– Ну... Ну, дальше буду с высшим образованием. Найду себе призвание. Вот и все.

Говорю и краснею. Николай Павлович смотрит внимательно, а Митюнчик пускает дым колечками и просто смеется.

– Да я тебе и так скажу твое призвание, если хочешь.

– Ну?

– Замуж выйдешь.

Господи, какой он идиот! Я никогда, никогда не выйду замуж. Ах, Френев... Ну, это совсем другое дело. Митька, противный, всегда старается сконфузить перед людьми.

– Не выйду, не выйду... Ошибаешься ты. Нельзя всех женщин мерить на один аршин. Ведь есть же и другие пути.

Митюнчик слушает и глазки прищурил. Откинулся на спинку стула.

– Э, Феюша, уж тысячу лет известно, что женщина, какая бы она ни была... да, вообще, женщина всегда ниже мужчины.

– И вовсе не ниже, вовсе не ниже... В физическом отношении, может-быть, и ниже, а в умственном – никогда, ни-

когда...

– И в умственном, Феюша, и в физическом.

Я знаю, что Митюнчика никогда не переспорить. Он всегда остается прав. И с ним как-то говорить трудно. Кричу со слезами в голосе:

– Как не стыдно, Митя! Какие у тебя отсталые понятия.

Я нарочно переменяла фронт, но это также не помогает. Митюнчик спокойно возражает:

– Ничего, Феюша, не отсталые. Самые нормальные. Запомни раз навсегда, что женщина может быть только женщиной.

Николай Павлович во время нашего спора ведет себя очень деликатно. Он все время избегает смотреть на меня. Я понимаю: это для того, чтобы не смутить меня еще больше. Милый он, тактичный, хороший. А Митюнчик грубый. Но я ему докажу.

– Глупо не признавать ничего за женщиной. Я тебе сейчас докажу...

– Ну, ну, Феюша, постарайся, слушаю со вниманием.

– А разве не было женщин – великих людей?

– Были. Так что же?

– Как что же? Разве... разве это ничего не доказывает?

– А сколько их, милая Феюша? Хочешь я тебе по пальцам пересчитаю?

Противный Митюнчик, не спеша, считает и все пускает дым колечками.

– Не считай, не считай, пожалуйста. Я тебе докажу, что вы нарочно держали нас так. Фу, кухня, стирка, стирка. Гадость какая. Вовсе женщина не ниже...

И вдруг неожиданно вмешивается Тонька:

– Да другая баба в сто раз умнее мужика...

Митюнчик быстро оборачивается к ней и, переменив лицо, жестко спрашивает:

– Уж не себя ли и меня имеешь в виду?

И, не дождавшись ответа, с прежней самодовольной, непогрешимой улыбкой издевается надо мной. Чувствую, как краснеет лицо. Сейчас брызнут слезы. Прячусь за самовар и кричу оттуда:

– Все равно, тебе не убедить, не убедить, не убедить...

– Я, Феюша, и не хочу убеждать. Сознайся, что ты из ложного самолюбия говорила?

– Ничего не из самолюбия... Я знаю тебя: ты ко мне подходишь с общей рамкой... Вот Сережа понял бы меня, а ты...

– Ну, Сережу ты оставь. Вы оба с ним витаете в облаках.

Сережа старше Митюнчика на два года. Он – коммунист и теперь на фронте где-то военкомом полка. Митюнчик не любит, когда ему ставлю Сережу в пример, и всегда говорит, что Сережа витает в облаках.

– Вовсе он не в облаках, а на фронте. Это ты вот не хочешь итти на фронт. Я ему письмо напишу...

– Пиши, сколько влезет.

Николай Павлович поглядывает на нас обоих и то хму-

рится, то улыбается. Потом он прощается. Говорит горячо и мягко:

– Учитесь, учитесь, Фея Александровна...

И смотрит на меня так сердечно. Да, да, я буду учиться. Пусть папа не позволяет, а я буду. Пусть Митюнчик смеется, а я буду. Сережа тоже говорит, чтобы я училась. Буду учиться и служить.

*30 апреля.*

Тонька и Митюнчик в самом деле не нуждаются. Не знаю, откуда они берут деньги, но они каждый день покупают хлеба и суп готовят с мясом.

Редко-редко позовут меня обедать. И это называются – родные. Господи, хоть бы мама поскорее приезжала! Страшное у нас житье здесь. Слышно по вечерам, как за стеной Тонька ворчит на папу. А папа делает вид, что ничего не слышит. После закрытия завода, папа жил почти полгода вместе с нами в деревне и приехал в Петроград только недавно, когда завод опять начал работать. Своей квартиры не было, и Митюнчик пустил жить почти из милости. Каково теперь папе? Недаром он так страшно изменился. Может быть, не только от голода? Ничего не может сказать им, – и делает вид, что не слышит. Совсем тряпка-тряпкой стал.

Обидно за него, горько, и ненависть к нему и брезгливость. Скупой стал, черствый, молчаливый, угрюмый. Даже страшно по вечерам оставаться с ним в комнате. Придет ве-

чером молча. Ест тоже молча. Потом наденет свои очки и читает газету. И все молчит. Господи, как ненавижу его в эти минуты! А он, кажется, чувствует мою ненависть. Иногда из-за газеты взглянет так исподлобья и ничего не скажет. Но на сердце делается нехорошо. И страшно от его тусклых глаз на похудевшем желтом лице. Слава Богу, что сижу в темном углу, и он не видит моих слез.

А иногда замечаю, что он как-будто робеет меня. Явно избегает раздеваться при мне и искакаться. Когда застаю его за этим занятием, вид у него пойманного школьника. Сразу поднимается острая жалость, ненависть и отвращение.

А вчера легла и вдруг вспомнила: «еще ни один день я не была сытой после приезда»...

Вспомнила и сразу испугалась почему-то, как никогда в жизни. Лежу, как раздавленная этой мыслью, а она огромная, огромная. И все другие мысли притихли.

Потом сердце заныло, и я заплакала. И, наверное, от слез, закопошились, как червяки, все придавленные, притихшие другие мысли. Забралась от них и от папиного страшного храпенья под одеяло и плачу, плачу...

А утром бросилась к зеркалу. Приехала румяная и бодрая, а теперь стала совсем не такая. Еще румянец на щеках есть, но он какой-то бледный. А раньше у меня был, как красный огонь.

И весь день ходила вялая, ленивая. Не хотелось итти на улицу. До вечера лежала на кровати и читала. И даже не чи-

тается как-то. Все думаю о том, что мне придется голодать.

*1 мая.*

Сегодня – первое мая.

Папа не работает. С утра нацепил на себя новый пиджак и совсем стал как прежний папа. Повеселел весь. И мне от этого легче.

Потом вдруг заметила, что он хочет что-то сказать. Ходит вокруг меня с виноватым видом и поглядывает осторожно. Я, конечно, насторожилась. Заранее приняла обиженный вид.

Наконец, он говорит:

– Ну, ради праздничка можно и пообедать.

Сказал и посмотрел на меня не по-отцовски робко. А у меня сердце сразу окаменело. Говорю с жестокими глазами:

– Вот как. Ведь мы же никогда не варим обеда. Да у нас сегодня и варить нечего.

А бедный папа как будто ничего не замечает и говорит раз'ясняюще:

– В столовую пойдем, на Седьмую линию...

В столовую? Вот тебе и на! Да как же я пойду? Мне неудобно... Там обедают все мужчины...

– Папочка, а в столовой женщины и барышни бывают?

– Экая дурочка. Там целые семьи обедают. Чего же ты беспокоишься?

Вышли на улицу. День ясный, солнечный. Идут рабочие

и красноармейцы с флагами и поют «Интернационал». И оттого, что поют, день кажется еще яснее и солнце еще горячее. Лица у всех такие радостные, сильные. Даже папа выгнул вперед свою впалую, сухую грудь. Идет по тротуару и напевает под свой широкий нос «Интернационал». И вдруг я замечаю, что сама подпеваю. Словно никто из нас никогда и не голодает.

После обеда папа спрашивает меня совсем ласково:

– Ну, как – сыта?

– О, папочка, сыта совсем.

Его глаза улыбаются и все еще напевают «Интернационал».

– Тут недалеко есть чайная... Пойдем-ка чайку попьем...

– Ой, папочка, да что вы? В чайную-то! Да там одни мужики.

Он с ласковой досадой возражает:

– Экая ты какая. Чего же тут особенного? В столовую же ходила?

– Нет, нет, папочка, я не пойду.

– Ну, как хочешь. Не с'ели бы тебя там.

Папа поежил острыми, худыми плечами и вытащил из кармана две конфеты. Говорит с виноватым видом:

– Это вот тебе, а это мне. Вчера получил по карточкам.

Сунул поспешно в руки конфету и говорит:

– Иди... куда? Домой теперь?

– Нет, папочка, я к подруге.

– С Богом. Да приходи не позже девяти.

Ах, папочка, папочка! Наверное, купил конфекту, а говорит – «по карточкам».

Защемило тоскливо в сердце. Точно кто пальцем больно ткнул его. Голод испортил моего папу, голод...

*3 мая.*

Рада я или не рада?

Вчера Митюнчик пришел поздно вечером. Я уже улеглась спать. Слышу, стучит через стенку:

– Феюша, завтра на службу собирайся... в почтамт, на пятую экспедицию... к Александру Андреичу...

И какая я смешная. Сразу подумала, что у меня еще нет прически, а только две косички. Очень на девчонку похожа. Смеяться будут. Наверное, на службе все – взрослые.

А потом заколотилось сердце от других мыслей. Вспомнился Николай Павлович. Если служить, значит, буду учиться. Раз сама буду деньги зарабатывать, значит, папа ничего не может сказать. Потом отчего-то стало грустно. Немного поплакала. Потом опять думала о своих двух косичках. Решила, что не буду уступать никому, хоть я и девчонка. Не спала почти всю ночь.

Утром вошел Митя. Подозрительно и торжественно оглядел с головы до ног. И вдруг говорит:

– Да убери ты хоть косички-то. Александр Андреич посолднее просил.

И нарочно сказал таким тоном, чтобы сделать мне больно. Обиделась и покраснела, но промолчала.

А на улице он опять обидным тоном читал наставления:  
– ...лишнего не болтай, но будь поразвязней, посолидней.

Покажи, что ты – уж барышня...

А я сейчас же и показала ему:

От здания почтамта протянута через улицу арка. Окна большие, неудобные такие. И часы висят огромные. Взглянула на арку и почему-то обомлела.

– Митя, Митя, скажи: я не в этом балконе буду служить?

Митя даже плюнул.

– Чего ты мелешь? Это арка, а вовсе не балкон. Соединяет хозяйственный отдел и канцелярию.

Я и сама спохватилась, что спросила неладно, да делать нечего. Молчу и краснею, а в душе смешно, что Митя так рассердился. Неужели он в самом деле подумал, что я такая глупая?..

Вошла в здание, и весь смех пропал. Я всегда робею там, где много людей. А огромный почтамт битком набит. Все бегает, суетятся и оглушительно жужжат. У Мити масса знакомых... На каждом шагу с ним здороваются. Если идет барышня, она поздоровается с Митей, а сама искоса смотрит на меня. Мите стыдно, что он идет с такой девчонкой, и все бежит быстрее. Еще рассуждает о женской самостоятельности... А сам-то? Стыдится идти с девчонкой.

Бегу за ним, чтобы не отстать. По дороге толкнула крас-

ную толстую барышню и успела только покраснеть, а не извиниться. Фу, какая я неуклюжая... Отскочила в сторону от толстой барышни и налетела на мужчину с усами... Не успела оглянуться, а Митя уж привел меня в какую-то комнату. До потолка навалены посылки, а за столом сидит Тонька...

– Тонечка, посмотри за ней.

И Митя убежал.

Тонька прежде всего посмотрела, как я одета, а потом мне в лицо. И насмешливо спросила:

– Ты уж не нюни ли собираешься распустить?

– Ой, нет, Тонечка... что ты?

– Смотри, сейчас придет Александр Андреич. Читать наставления будет.

Ужасно боюсь всяких наставлений. Господи, а вдруг не пойму!.. Не примет еще.

– Тонечка, а что он будет читать?

– Проповедь... Нужно быть хорошим работником, служить старательно... Ну, вообще, как начальник...

– А мне что отвечать?

– А ты, дура, подойди и скажи: «постараюсь». Ну, увидишь сама.

Только сказала, а с Митей входит высокий мужчина, с бородой и важный такой. Сердце так и рассыпалось на кусочки. Господи, это, наверное, Александр Андреич! Митя велел быть развязной... Слышу голос, как из тумана:

– Вот моя сестра.

Чувствую, что Александр Андреич смотрит на меня, и волосы от стыда шевелятся. Совсем забыла, что нужно сделать. А тут еще противная Тонька над ухом шепчет:

– Да подойди, дура...

Шагнула вперед и так тонко пискнула, что услышала свой голос и покраснела еще больше:

– Здравствуйте.

А Александр Андреич захватил мою руку и жмет очень энергично, как и следует мужчине.

– ...Ну вот будете полезной единицей в нашем громадном организме... полезные работники нужны...

Александр Андреич ушел. Тонька сразу наскочила бойкой курицей:

– И еще такую дуру прямо в канцелярию назначили. И чего ты нюни распустила? Стыдилась бы... Большая уж.

Пришли с Митей в канцелярию. Слава Богу, за столом все барышни и только один мужчина. И тут Митю все знают... Кричат из всех углов:

– А, Дмитрий Александрович...

– Здравствуйте, Дмитрий Александрович...

А Митя – свинья свиньей. Привел меня на середину комнаты и сказал:

– Вот моя сестра. Всего хорошего... некогда...

Чуть-чуть не убежала за ним. Растерялась и гляжу на всех.

Подходит хорошенькая, тоненькая блондинка. Волосы золотистые, пушистые и выются. Глаза большие и черные, а ли-

цо бледное. Вся как будто приторная...

– Ну, вот, золотце мое, будете у нас служить. Я сейчас покажу работу.

Посадила меня за стол рядом с какой-то черной барышней. Черная барышня сердечно смотрит на меня, а все другие – с недобрый любопытством. Одна, с толстыми губами и надменным смуглым лицом, даже сделала мне гримасу... Вот дрянь-то. Я тоже ей сделала.

Блондинка что-то объясняет. Она не знает, что у меня тоскливо ноет сердце. Господи, ни одного дружеского лица! Только черная барышня. Обидно как. И зачем служить, когда я хочу учиться? Теперь надо сюда ходить каждый, каждый день. И, может быть, всю жизнь, до самой смерти...

– Вы меня слушаете?

Поднимаю голову и вижу золотистые пушистые волосы.

– Да, да.

– Вот видите эти полки. На них все лежат книги, по которым будете наводить справки.

Посмотрела на эти полки, а они идут до самого потолка. Господи, как же я буду лазить туда?..

– А книги самим доставать надо?

– Нет, нет, золотце мое, у нас есть мальчик.

В двенадцать часов все побежали в столовую. Столовая здесь же в почтамте. Я не обедаю, потому что нет еще карточки. Чтобы получить ее, надо итти к какому-то уполномоченному нашей экспедиции. Там приложат штемпель и выдадут

карточку. Папа велел в первый же день получить карточку. А как я пойду? Ужасно боюсь всяких уполномоченных.

Черная барышня не пошла в столовую. Достала из стола хлеб и ест. Господи, да он еще с маслом... Сразу заныло в желудке. Ведь я сегодня с'ела только маленький кусочек хлеба. Заболела голова. Не думаю ни о Александре Андреиче, ни о золотистых волосах. Не выходит из головы кусок хлеба, густо намазанный маслом, в руках у черной барышни. Как она аппетитно ест. Господи, не смотреть бы хоть. Еще подумает, что я голодная. Ах, на глазах слезы проступили... Пойду в уборную. Не могу смотреть, как она ест. Надо идти к уполномоченному и – не могу...

*4 мая.*

Вчера так и не могла решиться получить карточки. Сегодня тоже не могла.

А, между тем, вчера вечером, не успела я притти со службы, папа спрашивает:

– Карточку получила?

И смотрит на меня так, как будто свалил с своих плеч тысячу пудов. А у меня закипает жгучая ненависть к его серым тусклым глазам, к худому, изможденному лицу.

– Нет.

– Почему?

– Я забыла.

– Ты забыла? А есть ты не забываешь? У меня весь хлеб

для тебя вышел. Сам голодный...

У меня даже зубы закрипели от злости. Услышала этот скрип, и вдруг стало жаль себя... И это отец? Готов уморить родную дочь? Господи, да что же это такое? Ничего не понимаю. Какой скупой. Какой жадный. Ненавижу, ненавижу, ненавижу...

Это было вчера.

А сегодня утром встала и не нашла на столе обычного ломтика. Он... он не оставил.

Окаменела перед столом. Здесь, здесь должен лежать мой хлеб. А его нет.

Слезы закапали на стол. Комната поплыла, как в тумане. Схватила шляпку и побежала на службу.

На улицах много чужой радости, майского солнца, голубого высокого неба, тепла. Весенний ветерок налетел на лицо, и от этого под глазами почувствовались невысохшие слезы. Все куда-то бегут, торопятся с бодрыми, радостными лицами. И никто на меня не смотрит. Я смотрю на всех, а на меня – никто... Господи, хоть поскорей бы мама приезжала... И куда все бегут? Сытые они, что ли?

Прибежала за час до начала занятий. Никого еще нет. Почтамт огромный и тихий. Никто в нем не жужжит. С балкона второго этажа он совсем, как пустыня. Белый, каменными плитками, пол блестит. Ровный и гладкий, он как-будто раздвинулся, оттого, что никто не бегаёт по нему.

И сжалось сердце от пустоты, тишины и огромности. При-

слонилась к колонке и заплакала.

Вдруг вся насторожилась. Сзади чьи-то шаги. Ах, это идет одинокая барышня, одинокими в тишине шагами. Ни за что не буду здороваться первая...

Первой поздоровалась черная барышня. Встала рядом и молча смотрит вниз. Подбородком мягким, не энергичным, оперлась на ладонь. Стоим и обе молчим.

Девять часов. Почтаamt открыли для публики. За дверями, должно быть, ожидала целая толпа. Сверху видно, как ворвались и рассыпались по белому полу, как жуки черные. Даже слезы высохли. Зажужжали, заговорили, затопали. В каком-то окошечке застучали штемпелем. А на сердце стало еще тяжелее.

Что это? Черная барышня что-то говорит...

– Вы, кажется, не расписываетесь в журнале?

– Ах, да... Нет... А разве надо?

– Да, нужно. Он внизу у экспедитора. Высчитают из жалованья.

Вот тебе и раз. А я и не знаю, где он находится. Митя мне ничего не сказал.

Черная барышня угадала мои затруднения. Деликатно предлагает проводить и показать. Какая она симпатичная и хорошая.

По дороге разговорились. Ее зовут Марусей. Вместе вернулись в канцелярию и принялись за работу.

В двенадцать часов в канцелярию прибегает мальчишка и

во все горло орет:

– Горох и чечевица... горох и чечевица...

Не понимаю, что это значит, но сразу почувствовала, что я голодна. Ведь утром ничего не ела. Маруся смотрит с улыбкой и поясняет:

– Это в столовой у нас. Обед такой сегодня.

Верно, обед. Как вчера, все сразу побежали в столовую. Маруся опять достает хлеб с маслом. Совсем неожиданно спрашивает:

– Фея Александровна, а вы почему не кушаете?

Маруся спросила и вдруг смутилась. Мои щеки тоже заливают горячая краска. Даже кончики ушей щекочет.

– Я сегодня забыла завтрак...

Маруся держит в каждой руке по куску и не смеет поднять глаз.

– Может быть... может быть, могу предложить вам кусочек? У меня два.

– Ой, нет, что вы? Я совсем сыта.

– Ну, правда, возьмите кусочек, Фея Александровна.

– Нет, нет, спасибо. Я... я не могу взять.

А в горле зазвенели слезы. Сидим обе красные и не глядим друг на друга. И вдруг во рту потекли слюни. Челюсти зашевелились. Стиснула зубы, чтобы сдержать их. И не могу, не могу...

Маруся опять говорит:

– Ну возьмите, Фея. Правда, возьмите. Я не умею просить.

Возьмите, Феечка...

Она осторожно положила передо мною один кусок. Вот милая, славная, добрая. Ведь я никогда, никогда не сумею отплатить ей. Как же я возьму? Слезы показались на глазах от голода и от чего-то другого.

– Спа... си... бо... Маруся...

И целый день она помогала мне в работе. Милая, добрая, славная!

*5 мая.*

И сегодня не могла решиться пойти к уполномоченному за карточкой. И сегодня папа выдержал себя и не оставил мне утреннего ломтика хлеба. Двое суток подряд с утра и до 7 часов вечера ничего не ела. А вечером – гнилая свекла и картошка с селедкой. Когда-то удивлялась Александру, что он может есть гнилую свеклу, а теперь сама ем.

Сегодня пошла на службу, и в первый раз закружилась голова. Дома сразу бросилась к зеркалу и стала рассматривать лицо. Как оно осунулось и какое стало бледное. Господи, папа меня уморит прежде, чем приедет мама.

*6 мая.*

Наконец, получила карточку.

Теперь каждый день имею полфунта хлеба. Выдают сразу на два дня. Сегодня мальчик принес целый фунт. Тут же его с'ела. Стыдно было перед другими, что с'ела хлеб целиком,

но не могла пересилить себя. И все же голодна.

Открыла случайно ящик стола и испугалась. Опять лежит кусок хлеба с маслом. Даже в жар бросило.

– Что... что это, Маруся?

Темно-карие глаза не смотрят на меня, но по движению ресниц вижу, что улыбаются.

– Ничего, Фея.

– Я не могу, не могу...

– Возьмите, правда, у меня есть...

Хлеб лежит в уголку ящика и белеет маслом вкусным и соблазнительным. Смотрю то на этот хлеб, то на Марусю. Из-под густых ресниц у ней что-то перепархивает в нижнюю часть лица. Но она не глядит на меня, чтобы еще больше не смутить. И все-таки тяжело, обидно, горько, а беру. Ведь так мучительно хочется есть. Какая она славная, хорошая. Пожалуй, каждый день будет подкладывать хлеб...

В душе решила, что буду брать только по четным дням.

Папа с каждым днем становится все черствее. Для него огромное несчастье, что запас селедок и свеклы окончательно испортился. Даже он принужден был выбросить. Никогда не пошлет меня в лавку купить чего-нибудь. Всегда покупает сам. Принесет и запрет. Он, кажется, и никому на всем свете не доверяет теперь. Как-то будет жить с ним мама, когда приедет? Ходит мрачный, замкнутый, суровый, как-будто еще больше похудел и высох. Страшно с ним оставаться в комнате по вечерам.

На службу я ухожу всегда без чаю и без хлеба. Но один день, когда в почтамте получаю хлеб, голодаю не очень, другой – очень.

Скорей бы приезжала мама.

*8 мая.*

Николай Павлович тоже служит в почтамте. Сегодня встретила с ним в столовой.

На обед в этот день была голая селедка. Все, у кого есть хлеб, едят ее в столовой же; у кого нет – берут домой.

А я, когда еще несла от окошечка, где выдают, чуть не вонзилась в нее зубами. Тороплюсь к столу и держу ее на весу, двумя пальцами за голову. Смотрю, как болтается хвост, а за ушами шевелится и больно от предвкушения. Хочется, хочется есть.

Добежала. Едва-едва счистила кожу и ем из середины, без ножа. Ухватила обеими руками и вдруг вздрогнула:

– Добрый день, Фея Александровна.

Ах, это Николай Павлович! Сразу покраснела до ушей. Стыдно, стыдно, что застал в такую голодную минуту. Вот голодная-то! Без хлеба ест селедку. Прямо зубами.

– Селедку кушаете? А я, знаете, домой возьму. В бумажку вот завернул. А сестра дома приготовит.

Выпустила из рук селедку. Упала прямо на стол. Не знаю, что сказать.

– Ну, как вы живете?

Голос у него ободряющий. Еще горячее внутри от стыда. Он заметил, заметил, что ем без хлеба... зубами...

Говорю равнодушно:

– Ничего, благодарю вас.

– На курсы еще не записались?

– Да знаете, все некогда. Была тут в театрах раза два... На вечере у знакомых... Весело в Петрограде после деревни. Не правда ли?

А сама искоса взглядываю на селедку... Господи, весь хвост еще цел. Даже в середине мясо осталось. Вкусное какое! Так бы все и выглодала...

Но рука пренебрежительно оттолкнула.

– Фу, Николай Павлович, какой сегодня скверный обед. Совершенно есть нельзя. Ужасная, знаете, столовая... А на курсы я запишусь обязательно. Только вот не знаю, на какие.

– Я вам охотно порекомендую.

– Пожалуйста, пожалуйста, буду очень рада.

Из столовой пошли вместе. И всегда он как-то особенно горячо говорит со мной. Почему он так близко принимает к сердцу мое образование?... Славный он, хороший.

Внутри сплошной огонь: учиться, учиться, учиться... Сначала на курсы, потом университет. Высшее образование. Но пришла в канцелярию, села за стол, и нехорошо заныло сердце. Господи, не придется мне, не придется. Я и без того за последние дни какая-то полумертвая. Апатия постоянная. Дома все время лежу на кровати. Не хватает сил. А впереди

не видно просвета...

Выбежала в уборную и заплакала.

*9 мая.*

Пришла со службы и весь остаток дня лежала на кровати. Странно как! Ни о чем думать не хочется. Даже воспоминания о Френеде скользят по мыслям и не попадают в сердце.

*10 мая.*

И без того я несчастная, а тут еще свалилось несчастье.

Каким-то образом вчера от столовой карточки, вместо одного купона, отрезали два. Сегодня, значит, без обеда. И хлеб получать только завтра.

Подхожу, как всегда в столовой, к барышне. Подала карточку.

– Вам обеда нет. Пообедали, и опять хотите... По два раза не полагается.

Барышня презрительно смотрит на меня, а я испуганно на нее. Ничего не понимаю. Господи, да она, кажется, обвиняет, что хочу украсть второй обед! Как она смеет?.. Закричала так, что все оглянулись:

– Вы с ума сошли. Как, почему нет?

– Очень просто. Второй раз обедать не полагается. Проходите. Не задерживайте.

И вдруг, наверное, поняла по моему растерянному лицу, что я невиновна. Говорит мягче:

– У вас купона нет. Наверное, вчера отрезали два по ошибке.

Пошла. Барышня, уже с виноватостью в голосе, ворчит вслед, что она не виновата, вчера она не дежурила. А у меня кошки скребут в душе от страха. Весь, весь день буду голодная. Никогда раньше не было такого страха перед голодом. Он сильнее даже самого голода.

В канцелярии по обыкновению спрашивают:

– Понравился, Фея Александровна, обед?

– Фу, гадость какая. Я сегодня даже не обедала. И... и представьте себе: вчера два купона вместо одного обрезами. Хорошо, что такой обед. Совсем не жаль...

Домой пришла ослабевшая до того, что не могла приготовить папе кипяток. Лежу на кровати и в голове пусто, хоть шаром покати. Ни одной мысли не осталось. Даже постоянное озлобление против папы угасло. Закрою глаза и голова тихо закружится. И как-будто устала дышать. Не шевелюсь ни одним членом.

И вдруг, сама не знаю отчего, вскочила и подошла к зеркалу. Смотрю на свое лицо страшными глазами и что-то вот-вот вспомню...

Но смотрела, смотрела, ничего не вспомнила. Опять медленно пошла к кровати.

Пришел папа. Огляделся. На столе кипятку нет.

– Кипяток приготовила?

– Нет.

– Почему?

– Голодная я.

Сразу в лице у него перебежало тусклое раздражение.

– Все мы одинаково едим. Ведь ты обедала?

– Нет.

– Как нет?

И он внимательно смотрит на меня. Чувствую, как от неприятного взгляда слабо закипает ненависть. Неужели же он думает, что я вру? Господи, вот человек-то!

– У меня два купона вчера обрезали.

Видно, что поверил мне. Но рассердился еще сильнее.

– Чорт знает, что ты за разиня! Надо смотреть. Так и голову снимут – не увидишь.

У меня нет сил возражать. Отвернулась к стене.

Слышу, как он заходил за моей спиной. Походил, походил. Остановился.

– Ах, и у меня-то хлеба нет сегодня.

Молчу.

Походил опять хлопающими, раздражительными шагами.

– А у тебя самой-то хлеба не осталось?

Сразу повернулась, как от толчка. Заговорила с быстрой ненавистью.

– И вы... вы разве не знаете? Я всегда с'едаю хлеб сразу. Чего спрашиваете?..

– Ну, так вот... Сиди тогда голодная.

Но тон уже не уверенный. Верно, верно! Остановился и с

изменившимся, жалким лицом говорит:

– Там у меня... фунта два муки белой. Испеки лепешек. Не я, а как будто истомленное сердце слушает его слова. Но, вместо благодарности, вся схвачена, почти до судорог, безумной ненавистью. Без слова поднялась и иду на кухню. Он, как тень, следует за мною и растерянно бормочет:

– ...На пасхе получил... Думал, мать приедет... Порадую белой мулкой. Кипяток-то скипяти теперь...

И странно, – последняя фраза стукнулась в сердце, и нет в нем уже ненависти... Бедный, бедный папа. Ведь не с радости он таким стал. Раньше был добрый, щедрый.

На кухне достал муку и велел замесить. Потом вдруг спохватился:

– Постой-ка, я сам, давай, а то ты всю вывалишь. Даже смешно стало. Взглянула на его расстроенное лицо, засмеялась добрым смехом и ушла в комнату.

А он минут через пять кричит:

– Феюшь, Феюшь, что это больно жидко у меня? Прибежала и разразилась хохотом, каким давно не хохотала. Положил с фунт муки, а воды налил не меньше как для трех фунтов. Сквозь смех говорю:

– Вот Бог и наказал. Теперь ничего не выйдет. Надо всю высыпать.

А папа тоже со смехом:

– Вроть твои на ноги... вроть твои на ноги... на, замешивай сама...

Я уже пеку лепешки, а он ходит вокруг меня. Заглянет небрежно через плечо на сковороду. Понюхает и опять ходит кругом.

И вдруг не вытерпел:

– Феюша, горяченьких-то поскорее... Пеки...

Встретился с моими глазами, и сразу заулыбались он и я.

– Сейчас, папочка, сейчас будут горяченькие...

Но, боже, боже... Какое у него исхудалое лицо. Я и не видела раньше. Височные кости и скулы только, только обтянуты желтой, дряблой кожей. А сам сутулый, длинный, тощий. Рука выходит из обшлага тонкая, тонкая. И синие жилки бегут по бледной коже. А на тоненькой руке огромная ладонь с исхудавшими острыми пальцами. Страшно даже... Ладонь с пальцами широкая, как грабли, и тоже вся желтая, дряблая и сухая... Господи, а усы еще страшнее! Редкие. Слиплись. И почему-то всегда мокрые... Как не замечала раньше? Господи, как жаль папу... И сколько на лбу складок. Крупные, тяжелые. Тянутся через весь лоб. И волосы на лбу просвечивают, такие редкие. А какие густые были. Господи, что же это с ним? Что же? Ах, а глаза, глаза... Как у замученного на смерть человека.

– Ну, ну, давай горяченьких...

– Возьмите, папочка.

– По сколько штук-то вышло?

– По семь, папочка... кушайте...

Господи! Я вся дрожу от ужаса, но делаю веселое лицо.

И вместо половины себе взяла только две лепешки, а ему отдала семь. И слава Богу. Не видел, что обманула его.

*13 мая.*

Опять воскресенье.

Только третье воскресенье живу здесь, а кажется, прошла бесконечность, серая и нудная.

Утром проснулась и вспомнила про папу. Сразу бросилась к зеркалу и долго смотрела на свое лицо. Совсем забыла думать о папе. Потом закружилась голова, сразу обмякла от усталости и слабости в ногах и легла опять.

Лежала весь день то с открытыми, то с закрытыми глазами. Ни о чем не думала.

*14 мая.*

А как странно я веду себя на службе. Давно уже познакомилась со всеми, но подружилась только с Марусей.

Медленно, медленно тянется время до обеда... Скорей бы обед. Тогда легче будет. Все-таки немного поем. И страшно боюсь, чтобы не заметил кто, что я голодная. Шучу, смеюсь, болтаю, а сердце и желудок ноют. Сосет внутри. Но особенно зло вышучиваю всех, кто начинает разговор об еде. Один любит то, другой – другое, третий – третье. А я смеюсь над ними. Называю их животными, думающими только об еде. А в глубине души сама не знаю, искренняя я в этот момент или нет. Кажется, искренняя.

После обеда немного оживаю. Стараюсь думать о Френе-неве... Господи, какая я стала бесчувственная. Почему май стал таким серым? Николай Павлович говорит, что нужно учиться. И сама знаю, что нужно. Да, да, сегодня обязательно пойду, запишусь на курсы. Сегодня же вечером пойду.

Но вот я дома. Грязные стены и стертый, крашенный когда-то, пол. Низкие потолки, остатки зимней плесени и паутина по углам. Сразу все стерлось в душе: почта и вечерняя майская улица. Загляну устало в зеркало на свое осунувшееся бледное лицо. Теперь каждый день заглядываю. Елена Ильинишна – наша заведывающая – говорит, что я стала интересней. Мне все равно. Ложусь на кровать и жду папы. К его приходу кое-как приготовлю кипяток. Ужинаем вместе. И опять лежу. Потемнело в комнате, и папа уже храпит. А я еще не сплю долго. Смотрю на темный угол, где черной, неясной тенью висит папино пальто, и ни о чем, ни о чем не думаю.

*15 мая.*

Сегодня на службе срочные работы. Едва выбралась к 11 часам. И с утра без хлеба, на одном обеде из столовой. А обед – суп из овощей и больше ничего. Конечно, вода-водой.

Шаг за шагом плетусь по потемневшей, теплой улице. Кажется, вся переполнена народом. Вспыхивают в полусвете белой ночи огоньки папирос у гуляющих. Жужжат над ухом веселые фразы. Но ничего ясно не вижу, ничего ясно не слы-

шу. Кружится голова, и чувствую с болью бьющееся сердце.

Остановилась на Николаевском мосту и засмотрелась на воду. Облокотилась на чугунные перила всем телом и закрыла глаза. Сразу закружилась голова. И какая-то новая боль над бровями.

Открыла глаза и попала на зеленый сигнальный огонь под мостом. Подальше красный огонь. Господи, взять бы да броситься в воду. Кто пожалеет о такой девчонке? Папа скупой, черствый. Обрадуется, что от лишнего рта избавился. И только. Все равно, может быть, придется умереть с голоду.

Что-то плеснулось внизу. Видно, как на светлой воде пошли круги. Наверное, большая рыба плеснулась. Нет, нет, не могу! Там же рыбы большие. В тело вопьются. И раки еще черные. Фу, гадость какая!.. Не могу, не хватает решимости. Совсем я трусливая. Девчонка совсем. А дома все спят. Митьке с Тонькой никакого дела нет до меня. Папа тоже не встретит. Наверное, храпит уже. Хоть бы самовар кто поставил да чаю приготовил. Никто, никто...

Долго звонилась... Верно, верно: все спят. Никому нет дела до меня. И вдруг голос...

Так и вздрогнула. Еще не ответила себе, чей же это голос, а сердце уж забилось, затрепетало, как безумное.

– Мама, мама, мамочка, это – я, Фея...

– Феечка, родная моя, здравствуй! Здравствуй, доченька...

Судорожно рыдаю у ней на шее. Ах, мама, мама, милая

моя мамочка! И сквозь слезы чувствую, что мама встревожена.

– Ну, что ты, Господь с тобой? Феечка, родная моя доченька, что ты? Не плакать, а радоваться надо. Пойдем в комнату.

– Ах, мама, мамочка, как тяжело жить без вас. Я больше никогда не буду жить без вас, никогда, никогда...

– Ну, ну, успокойся, моя хорошая, бедная доченька. Все прошло, все. Садись-ка лучше, покушай.

Господи, а на столе и творог в боченке, и рыжики, и хлеб деревенский. И чай мама приготовила для меня. Ем за обе щеки попеременно со словами и слезами.

– Ой, мама, скупой какой, черствый он стал. Как тяжело жить без вас. Тонька ругается, ворчит на папу и на меня тоже. Я больше не буду жить без вас...

– ...Ешь, ешь, моя хорошая...

– А папа еще овшивел. Это от голода ведь, мамочка?

– Да я уж видела. И ума не приложу, что это с ним случилось? И нас-то с Борькой встретил: ровно бы и рад, ровно бы и не рад, что мы приехали.

– Не рад, мамочка, не рад. А Борька спит разве? Экий, даже не дождался меня. А как папа-то вас встретил?

– Да так и встретил. Входим с Борькой, а Тоня дверь открывает. Ну, знаешь, сама... она тут сейчас: мама, мамочка, здравствуйте...

– А разве она не заплакала?

– Ну, какое там. Сказала только: «наконец, вы, мамочка,

приехали... дождалась», и всего тут.

– Она, поди, вовсе и не дожидала.

– ...Ну, так вот, слушай... Раздеваемся мы тут, а он выходит из комнаты. И так это, ровно бы и рад, ровно бы и не рад... «А, – говорит, – мать приехала. Ну, здравствуй...» А у самого хоть бы где-нибудь на лице выразилось. А-то ведь ничего. Уж больно обидно стало, доченька. Да виду не пода-ла. Бог уж с ним!

Из маминых милых глаз текут слезы. Вскокиваю и обни-маю.

– Мамочка, не плачьте, не плачьте.

– Да больно уж обидно, доченька...

Господи, неужели мне еще придется и маму от него защи-щать? Я сама думала... А что, если он не спит и все слышит?

– Мамочка, а он спит?

– Давно уж дрыхнет.

Мама смешно, смешно махнула своей, словно обварен-ной, красной от стирки рукой и еще смешнее сморщила ли-цо. Сломался нос и вся переносица в морщинах... Так и хо-чется поцеловать. И черненькие, старенькие бровки сломал-ись. А рука у ней хоть красная, но красивая и маленькая. И пальцы тонкие, с подушечками на концах.

– Ой, мамочка, милая, и Шуру голодом морит. Он теперь в «Европейской» гостинице служит. Еще ни разу не был у нас.

– Ну, ладно, ладно, доченька. Теперь будет все хорошо. Раздевайся, ложись спать. Устала поди...

– ...А на службе скучно. Александр Андреич – ничего себе, а Зайцев – совсем дурак. Знаете, это его помощник. У меня только одна подруга там. Очень хорошая... Хлеба с маслом дает.

– Спи, спи, моя родная, Господь с тобой...

Мама крестит меня, целует в лоб, а я обхватываю ее мягкую, теплую шею руками.

– Мамочка, милая, как я счастлива теперь.

– Ну, ну, спи с Богом.

– А тут Николай Павлович приходил. Худой такой, бледный, с красными глазами, а хороший. Все говорит: учиться, учиться, Фея, надо...

– Он и всегда был хороший человек.

– И Френев мне писать будет... Вы не сердитесь, мамочка, что мы в Вологде с ним поцеловались. Только один раз, и то я сама захотела.

– Ну, ну, спи с Богом, устала ведь.

– А я скоро, послезавтра, получу первое жалованье. За полмесяца четыреста рублей. Вот папа-то рад будет. Он тут даже на зубной порошок не давал. Я вам буду все деньги отдавать. Не хочу, чтобы ему.

– Ох, дурочка ты моя. Все равно, мне надо у него на расходы брать. Ну, спи, спи с Богом.

– Я, мамочка, его совсем больше не люблю, а вас еще больше люблю.

– Хорошо, хорошо, доченька.

- А разбудите меня завтра в восемь часов?
- Хорошо, хорошо, спи.
- И чай, мамочка, завтра будет?
- Ну как же, разве я провожу тебя без чаю?
- Спокойной ночи, мамочка.
- Спи, моя родная.

*16 мая.*

Проснулась оттого, что Борька трясет за плечо и кричит в самое ухо:

– Феюша, Фея, Фея, Феюшка, вставай... Я ведь приехал... Ой, мама, Феюшка что-то мычит...

– Борька, милый!

– Наконец! Продрала зенки! Чего дрыхнешь? Ведь я приехал...

А сам, сияя своей рожией, тянется с поцелуями.

– Ах, мамочка, самовар уже готов! Вот хорошо-то! За всю жизнь первый раз с чаем ухожу на службу.

Чай пью с хлебом. Не маленький кусочек, а ешь, сколько хочешь. И с собою мама дает еще хлеба.

В канцелярию влетела бомбой. Сама чувствую, что на лице глупая, во весь рот, улыбка. Кричу так звонко, что сама удивляюсь:

– Здравствуйте, Елена Ильинишна...

– Здравствуйте, здравствуйте, золотце. Что это золотце так сияет сегодня?

– Ах, Елена Ильинишна, мама приехала.

– А, мама? Наверное из деревни? Привезла чего-нибудь? Да?

– Да, да... Ничего особенного. Рыжиков в боченке, тво-рогу, масла немного, да еще сухарей...

– Сухарей. Вот золотце счастливое... Я очень люблю пить чай с сухарями.

– Ой, Елена Ильинишна, хотите, я вам завтра принесу?

– Ну, что вы, золотце, спасибо.

– Ей-богу, Елена Ильинишна, принесу.

– Нет, нет, что вы за глупости говорите.

– Господи, Елена Ильинишна, да вы должны взять. Раз я вас люблю, вы должны, должны, должны... Все равно не хорошо будет, если не возьмете.

– Ну, ну, золотце, теперь не угощают. Теперь такое время... Все дорого...

– Елена Ильинишна, вы должны. Мне никакого дела нет до времени. Сказала принесу, – вот и все.

– Хорошо, хорошо, идите, золотце, работайте.

Сажусь за стол. Ах, и Маруся... Как она хорошо смотрит! Смотрит и улыбается.

– Ой, Маруся, как я счастлива. И мама сказала, что скоро Сережа приедет.

– А кто такой Сережа?

– Это мой брат. Он в отпуску в деревне был. Ох, умный какой. Ужасно хороший и очень умный.

– А он интересный?

– По-моему, интересный. Высокого роста. Знаешь, лицо такое, смуглое.

– Я люблю смуглых мужчин.

– ...Усов и бороды нет. И потом губы у него удивительные, когда улыбается... Вот такая ямочка тут. И улыбка милая, хорошая. Очень симпатичное лицо. Прямо видно, что интеллигентный человек.

– А он образованный?

– Да, он... ну, как все. И потом все на курсах... Английский, немецкий, французский еще знает... И еще, когда на фронте не был, то все заведующий был. Разные там отделы народного образования основывает. И он все поймет, каждого человека. Прямо удивительно, как меня понимает. Всю, всю. Я его безумно люблю.

– А нос у него какой?

– А нос, как у меня... Ой, вру, вру. У меня ведь картошка...

– Нет, что ты, Фея, когда в профиль, у тебя не картошка.

– Да нет, нет, ты не понимаешь. В длину такой, как у меня. Не узкий, не широкий. Так в общем – средний... Ну, русский прямо нос. А вообще-то лицо у Сережи не русское.

– А на кого он похож?

– На французского летчика.

– Ну, как же летчика? Летчики же разные бывают. И потом сколько ему лет?

– Ну, как тебе об'яснить... Я там и не знаю. Двадцать пять или двадцать два, или двадцать три. А брюки – галифе. Высокий такой, и френч еще. Усики только чуть-чуть... черненькие...

– Я бы хотела его увидеть.

– Ой, Маруся. В общем, нельзя назвать красавцем. Ну, да я и не люблю таких, знаешь, парикмахерских усов. И румяных вот таких щек. И ты не любишь?

– Да, я тоже не люблю.

– Он...

Господи, как я заболталась. Елена Ильинишна говорит:

– Ну, золотце, кончили вы? Принимайтесь за работу.

Противная эта Елена Ильинишна. И сухарей давеча нарочно попросила. Разговаривать теперь мешает.

– Ой, Елена Ильинишна, извините, я так сегодня счастлива. И знаете, еще скоро Френев приедет. Ты знаешь, Маруся, я его прямо люблю...

– Ну, хорошо, Феечка, давайте работать. Елена Ильинишна сердится.

– Верно. Давай, Маруся, давай...

А мама приготовит чай, когда приду домой. Господи, как я счастлива. И завтра утром тоже чай. Ах, мамочка, мамочка милая. Ты не знаешь, как я тут страдала... Хорошо теперь.

*17 мая.*

Сегодня получила первое жалованье. За полмесяца четы-

реста рублей.

И совсем не рада, когда Тюрин, наш казначей, подал мне бумажки. Противно было класть в карман. Словно они привязали меня к карману. И теперь, когда лежат, я чувствую, что они шевелятся в нем. Папа, конечно, будет очень доволен. Будет говорить, что это первые, самостоятельно заработанные деньги, надо беречь и прочее... Неприятно все это как!

И дома почему-то долго медлила отдавать их папе. Обещаю и ощупываю бумажки. Трудно почему-то для меня сказать, что получила деньги. Наконец, говорю хмуро:

– Вот деньги... получка...

– А-а-а, вот молодец дочка! Сколько?

– Не знаю, считайте сами.

Папа как будто не замечает моего тона. Аккуратно, до противности, свертывает каждую бумажку отдельно и тщательно, ровной кучкой, укладывает в большой черный кошелек.

– ...Молодец, молодец дочка. Помни: это твои первые самостоятельно заработанные деньги. Поди-ка, и самой приятно? Хе-хе-хе.

*18 мая.*

На папу совсем не повлиял мамин приезд. Даже как будто наоборот. Сегодня он нашел предлог и совершенно отделился от нас в хлебном пайке. Отделился... Какое страшное

слово, и как холодно от него в душе!

Сегодня должен был приехать Сережа. Я уже надевала шляпку, чтобы итти на службу, когда кто-то позвонил.

Так рано Сережу никто не ждал. Мама пошла открывать дверь спокойно. И вдруг я вся задрожала от ее радостного крика: «Сереженька!».

Не успела надеть шляпу и, держа ее в руке, понеслась на кухню. А Сережа в серой шинели стоит посередине кухни и улыбается.

– Сережа, Сережа, как я рада...

– Не слишком радуйся, сегодня вечером уже уезжаю на фронт.

– Ой, Сережа, а нельзя послезавтра?

– Нет нельзя, Деникин Москву возьмет...

А сам поглядывает то на маму, то на меня, то на Борю и без конца улыбается. Потом, показывая глазами на мою шляпу, спрашивает:

– Фея Александровна на службу идет?

– Да, да, я уже давно служу. Ты не можешь представить, как не хочется итти.

Долго я болтала ему всякий вздор. Он все слушал со своей мягкой улыбкой и шевелил своими румяными губами. А в канцелярии я весь день рассказывала про него Маруське.

Домой шла с тяжелым чувством. Знала, что он уже уехал. Мама встретила с заплаканными глазами. Это оттого, что уехал Сережа... Нет, у ней какое-то особенно расстроенное

лицо. Господи, что же такое случилось?

– Мамочка, что с вами?

– Да ну уж, чего?..

Мама с таким видом махнула своей рукой, что сразу за-  
ныло сердце.

– Мамочка, мамочка, что с вами, скажите?

– Да вот с батькой поругалась.

Со слезами на глазах мама рассказывает:

– ...Да вот из-за Сережи. Как же, право, обидно. Давеча  
проводжала его. Ну, поставила самовар, отрезала всем по кус-  
ку хлеба. Ну, а хлеб-то и весь. Ему, конечно, оставила его до-  
лю. А он пришел и раскричался. Я ему сказала, что нас трое,  
и все только по кусочку с'ели. А он говорит: «со следующего  
дня буду делиться от вас. Я, мол, работаю больше всех, хле-  
ба получаю больше всех, а вы будете есть». Ну, что ж мне  
оставалось говорить? – Делись, – говорю, – Бог с тобой.

И у меня слезы на глазах. Но это не бессильные, жалкие  
слезы обиды, а гнева и обжигающей ненависти. Утешаю ма-  
му, целую, а губы кричат сами:

– Эгоист, эгоист! Бесчувственный эгоист! Ненавижу его!  
Сережа на фронт едет, а ему хлеба жалко. Маму обидел.  
Только о себе заботится. Вот он какой, мамочка!.. Я говори-  
ла вам...

Вдруг наши глаза встретились и остановились. Какие  
страшные глаза у ней! В них горит мой собственный огонь.  
Господи, мы, кажется, будем ненавидеть его вместе.

Дрожь побежала по телу. Отскочила от мамы, забилась в угол и закрыла глаза руками.

Ничего не понимаю, что делается в душе. Но в ней больше всего жгучей, непримиримой ненависти.

*19 мая.*

Очевидно, про приезд мамы прослышал и Александр. Сегодня он зашел к нам.

Как всегда, несмелый и пришибленный и, конечно, голодный. Просит есть только глазами. Тупой, голодный взгляд маленьких, полупогасших глаз красноречивее всяких слов. Ему, оказывается, живется очень плохо. Хлеба получает 3/4 фунта в день. На обед жидкая похлебка. Жалованье – ничтожное. Работа тяжелая, физическая: убирать двор и улицу.

Пришел в родной дом. Недоверчиво оглянулся по углам и, выбрав потемнее, сел. Посматривает оттуда на всех жалкими, просящими глазами.

Мама дала ему немного продуктов. Он неуклюже взял и даже спасибо не сказал. Положил себе на колени и держит одной рукой. А сам насутулился еще больше, словно продукты его придавали.

Жаль, жаль его невыразимо. Сердце ворочается, как огромный камень, когда смотрю на малоосмысленное выражение забитого лица, исхудалого и жалкого. И вдруг глаза попадают на его колени... На коленях продукты...

Господи, что это такое? Явственно чувствую, как сквозь

жалость поднимается голодная ненависть. Ведь сами же голодаем, а отдаем последнее ему! Еще два-три дня, и у нас все.

Что же, что же это такое? Неужели я буду такой, как папа?..

Легла спать и долго твердила себе, что мне жаль Александра. Потом прислушивалась к сердцу. Господи, все же нельзя отдавать последнее! Сами голодаем.

*20 мая.*

Продуктов, которые привезла мама, осталось не больше, как на три дня. Сердце сжимается от страха за будущее.

Папа хмуро провожает в наши рты каждый кусок, и я чуть не давлюсь от этого. Но он ничего не говорит. Из своего хлеба не уделяет никому ни кусочка. А получает  $1\frac{3}{4}$  фунта, я же только  $\frac{1}{2}$  фунта, мама  $\frac{1}{2}$  фунта, Боря  $\frac{5}{8}$  фунта. Мы трое часто делимся друг с другом. Маме и Боре хлеб выдают из городских лавок и за последнее время с большими перебоями. Хорошо, что я получаю свой хлеб регулярно.

Не знаю, что чувствует мама, но мне кажется, что между мною и ею и даже Борисом протягивается какая-то связь. И эта связь направлена против папы. И папа это чувствует.

Боюсь, боюсь думать об этом.

*21 мая.*

Собираемся переезжать на другую квартиру. В одной ком-

нате жить четверым очень тесно. Кроме того, переезжать необходимо из-за Тоньки. У мамы с ней каждый день ожесточенная перебранка. Таких грубых и злобных, как Тонька, я еще никогда не встречала. Мне кажется, что она просто завидует нам оттого, что у нас есть продукты... Но ведь они сыты и без этих продуктов?

*22 мая.*

Все, все...

Доедаем последнюю горсть муки, которую привезла мама. Значит, придется сидеть только на пайке, а хлеба не выдают по карточкам по три-четыре дня.

Господи, как-то будем жить?

Целую неделю каждый день я была сытой, а теперь, теперь?

*25 мая.*

Квартира отыскалась где-то в Новой Деревне, бесплатная и с мебелью.

Маме страшно не хочется забираться в такую даль. Говорит, что будет далеко ходить мне в почтамт, а папе – в завод. Папа ведь работает на Васильевском Острове, почти в Гавани, как же он будет ходить каждый день к восьми часам утра? Но настаивает сам папа... Во-первых, в Новой Деревне запастись на зиму дровами легче, чем в городе, а во-вторых, легче купить у крестьян картошки.

Но мне кажется почти безумием это переселение почти за город.

От Вани, другого моего брата, который на южном фронте, получено письмо. Обещает прислать посылку.

*27 мая.*

Голод, голод, голод.

Папа, оказывается, зарабатывает в месяц 1.200 рублей да я еще 800. Каждый из нас получает обед в столовой и, кроме того, хлебный паек. Этого очень мало. Можно в одну неделю умереть с голоду.

Вчера у папы с мамой было долгое мучительное совещание. Как жить, как жить? Решено было каждый день прикупать два фунта картошки и фунт свеклы. Но это стоит двести пятьдесят рублей, и нужно семь с половиной тысяч в месяц. Мама предложила постепенно продавать вещи. Папа страдальчески сжал виски руками и долго молчал. Потом глухо сказал:

– Ну, что ж, мать, – будем продавать. Господи, Господи!..

Потом дрожь пробежала по узкой, длинной спине. Папа поднял голову и посмотрел маме в глаза. Я не видела его глаз, потому что он сидел спиной, но, должно быть, они были страшные. А у мамы текли слезы.

– Как-нибудь, может быть, Бог поможет. Ваня обещает прислать посылку.

Папа безнадежно махнул рукой и стал отсчитывать день-

ги.

– На, мать, это на завтра, купи, как решено.

Я сидела в углу и все видела. Не плакала оттого, что не было слез. Но Борис в другом углу горько плакал.

Отвернулась и безотчетно, с пустым сердцем, уставилась на наши старые часы, которые могут ходить только тогда, когда висят вкось. Маятник тик-так, тик-так...

Долго смотрела, и слез все не было.

А когда легла спать и с головой забилась под одеяло, они полились. Вымокла вся подушка.

*28 мая.*

Сегодня мама с утра ушла на рынок продавать свое платье.

У мамы всего четыре платья. Перед тем, как уйти, она разложила их на столе и долго выбирала. Качала головой, вздыхала и утирала слезы. Выбрала темно-синее.

Пошли вместе; она на рынок, а я на службу.

По дороге у меня закружилась голова.

*30 мая.*

На службе я никогда не показываю, что я голодна. Всегда смеюсь, шучу, болтаю. Но сегодня Маруся вдруг странно посмотрела на меня и спросила:

– И чего ты, Фейка, злишься последнее время?

Я сразу испугалась этого вопроса, но равнодушно подняла

глаза.

– И вовсе не злюсь. С чего ты взяла?

Но все хором неожиданно загалдели:

– Злится, злится...

– У нее на лице написано...

– Она влюбилась...

– Фейка, скажи, в кого влюбилась?

А у меня поднимается злоба против них. Обвела глазами их любопытствующие лица и страшным, пронзительным голосом закричала.

– Отстаньте, отстаньте, ради Бога...

Бросила в кого-то пером и выбежала в уборную. Вдогонку еще услышала:

– Вот так золотце...

– Дрянь девчонка...

– Злая...

Господи, они, они не знают, что я голодная.

*31 мая.*

Сегодня голода не чувствую.

Утром пришла на службу, смотрю – письмо. Конечно, сердце забилося, как безумное. А тут еще и почерк незнакомый... От кого? И вдруг от Сергея Френева?

Лихорадочно распечатала и читаю. Господи, верно, верно от него. Заплакала от счастья. Хорошо, что на службу пришла немножко рано. Никого еще нет, и я перечитываю пись-

мо во второй, в третий, в четвертый раз и плачу на свободе. Перечитывала до тех пор, пока не пришла Маруська.

Бегу ей навстречу и размахиваю письмом.

– Маруська, Маруська, на, читай...

Напряженно смотрю в лицо читающей Маруси. Наверное, она будет поражена тем, как он меня любит. Может быть, и позавидует? Нет, нет. Она хорошая. Не позавидует.

А по лицу Маруси порхает около губ ласковая улыбка, но глаза как будто разочарованы. Наконец, говорит длинным голосом:

– Он тебе, как девочке, пишет... Только-то?

Голос у нее искренний, сердечный, но меня так и захлестнуло от миллиона возражений.

– Ты ничего не понимаешь. Ну, да ты пойми. Может быть, да... Пусть девочке. Я и так люблю. Ты пойми.

– Да ты, Феечка, не горячись. Я великолепно понимаю. Это юная, чистая любовь. Одним словом, – первая любовь...

– Вот, вот именно первая...

– Ну, а я еще никогда никого не любила.

Маруся говорит печальным голосом, и мне вдруг сделалось ее так жаль. словно я богатая, а она бедная. Она еще никого никогда не любила. А я несколько раз.

– Полюбишь, Маруся, полюбишь. Вот я... без любви не могу прожить. Я удивляюсь, как ты... Нет, нет... Ведь любовь такое чувство...

Когда собрались остальные, не удержалась и показала

письмо Елене Ильинишне.

– Хотите почитать, Леля?

Она взяла с нехорошим любопытством. Читает, а губы все больше складываются в презрительную гримаску.

– Неужели он вас так любит? Вас, такую девчонку?

Чуть опять не закипела, да во-время услышала, как Маруся сказала:

– Ну, наш кипяток сейчас закипит.

Какая эта Елена Ильинишна глупая! Думает, что нельзя меня любить. Наверное, она от зависти.

*1 июня.*

Страшная новость: с сегодняшнего дня сбавка хлеба.

Сердце словно притихло, когда сказали об этом, а потом заколотилось до боли и отчаянно заныло.

Папе сбавили немного. По гражданской карточке он вместо фунта будет получать в день  $3/4$ . Бронированные полфунта в день остались по-прежнему. А я и мама будем получать только по  $1/2$  фунта на два дня. Боря  $5/8$  на два дня...

Как же мы будем жить?

*2 июня.*

Переехали, наконец, на другую квартиру.

Все дни перед переездом угнетало тяжелое чувство. Казалось почему-то, что в другой квартире умрем с голоду. Но папа упорно настаивал, и мы переехали.

Маме также не хотелось ехать. Но теперь, когда уже совершилось, она бодро хлопчет и устраивает собственное гнездо. Говорит, что очень хорошо, что Тоньки нет с нами. А мне все-таки тяжело. Комнатки маленькие, низенькие. Окна крохотные, и вся она грязная, мрачная. Обои серые, тусклые, со следами раздавленных клопов.

И от этих серых, тусклых стен в душу вползает тоже серое и тусклое.

Сбавка хлеба и то, что папе не урезали бронированный паек, еще больше сплотили нас против папы. Все прячем, прячем в душе свою ненависть, но это не помогает. Мы медленно, против своей воли, травим его хмурыми взглядами, чувствами, мыслями, движениями. Он все больше отделяется от нас.

Мама даже отказалась спать с ним в одной кровати. У него ведь вши.

Но я знаю, что это не вши.

*5 июня.*

Продаем уже постельное белье. Благодаря этому, имеем возможность каждый день покупать по два фунта картошки, по фунту свеклы или капусты. Вечером мама готовит из этого общую похлебку. Есть ее приготавливаюсь с жадностью, а ем с отвращением. Каждый день похлебка, похлебка, похлебка...

Домашняя жизнь опять установилась такая же, как перед

приездом мамы. Прихожу со службы и ложусь на кровать. Лежу до похлебки. Поем и опять ложусь.

Часто, как раньше, подойду к зеркалу и долго, без всякой мысли в голове, смотрю на свое лицо. Не вижу ни глаз, ни носа. Белеет что-то бледное, но мысль ничего не схватывает.

И сегодня подошла. И вдруг в зеркале ясно увидела Бориса. Совсем четко отражается, как он лежит на диване. Закинул под голову ручки и смотрит куда-то в потолок. Какой он худенький, бледный!.. Вздрогнула вся и замерла. Боюсь, до ужаса боюсь оглянуться назад и проверить. Может быть, он еще хуже в действительности.

Страшный он какой! Совсем неподвижный. И глаза неподвижные. И вдруг вздрогнула еще сильнее: увидела свое собственное лицо... Такое же бледное и глаза безумные. Это от испуга. Да, да, я испугалась не за Борю, а за себя. Понимаю, понимаю. Боюсь, что умру с голоду. Господи, я совсем эгоистка... как папа!.. Нет, нет, мне и Борю жаль!

Не взглянув на Борю, побежала к кровати и ткнулась лицом в подушку.

Хлеба из лавок не выдают четвертый день. Сидим на одном советском обеде да на несчастной похлебке. Мама все бодрится, но когда вечером пришел папа и сказал: опять нет, – она сразу как-то обвисла, и лицо сделалось пришибленным.

А вчера вечером вдруг заметила, что Борис сидит на корточках в углу и, закрыв лицо руками, плачет так, что вздра-

гивают острые плечики. Скользнула по нему взглядом и... осталась равнодушной. Не захотелось сдвинуться с кровати.

Отвернулась к стене и задрожала от ужаса. Близко, около самых глаз по стене ползет тощий клоп. Совсем как листик, и едва передвигается.

Какая-то страшная мысль забилась, затрепетала в голове. Хочу ее ощупать и не могу. Зубы стучат. Смотрю на еле двигающегося клопа, как в лихорадке, и ничего не могу понять. Потом вдруг соскочила и бросилась к Борису...

– Боренька, Боренька, ты что плачешь?

Молчит.

– Боря, Боря, скажи скорее... Хлебца хочешь? Папа принесет сегодня.

– Нет. Не хочу. Папа-то полфунта лишних получает на заводе...

Сердце оборвалось и полетело куда-то в пустоту. Потолок заколебался, а в комнате туман, туман... У папы полфунта лишних... Ведь я тоже ненавижу за это...

Повернулась и медленно пошла обратно. Легла к стенке лицом и смутно поняла, что клопа уже не было.

*8 июня.*

Сегодня, наконец, папа принес хлеб. Сразу за пять дней.

Мамина и Борина карточки прикреплены в папиной лавке на заводе. Папа приносит свою часть уже отделенной от маминой и Бориной. Завертывает ее в бумажку и убирает в

шкаф.

*10 июня.*

Сегодня продали столовую салфетку. Все-таки у нас каждый день бывает похлебка. Без похлебки наверное бы уже умерли. А на службе я все еще стараюсь смеяться, шутить, болтать.

*12 июня.*

Опять сегодня что-то продали. Я уже не знаю, что? Не слежу. Иногда вспыхивает отчаяние. Поскорее бы кончилась эта мука... Хоть бы умереть, что ли? Кинуться в воду?.. Но, нет, нет, не могу. Еду со службы в трамвае по Троицкому мосту. Нева блестит на солнце. Видно из окна, как стремятся к заливу маленькие, сверкающие волны. Нева красивая, а броситься в нее не могу, не могу.

Господи, Господи! Еще сбавили хлеба.

Я буду получать только 1 /8 фунта в день, мама тоже столько, а папа по гражданской карточке полфунта и своих бронированных полфунта. Ненавижу его, своего родного отца, за эти лишние полфунта. Как же будем жить? А на службе я все еще веселая. Мне даже как-то странно. Чувствую, что под веселостью огромная, тусклая пустота, а язык еще что-то говорит. Часто свои собственные слова слышу, как из тумана, и сама почти не понимаю их. Внутри только стелется смутное ощущение: как бы не выдать себя. Пусть не знают,

что я голодная.

А дома даю полную волю своему оцепенению. Весь остаток дня пролеживаю неподвижно на кровати. Угасла вся внутренняя жизнь. В сердце постоянный сумрак. Иногда делаю мучительные усилия и стараюсь думать о Френеве. Последнее письмо было из Москвы. Писал, что скоро придется ехать в действующую армию. После того не было ни одного письма.

Но и мысли о Френеве не возбуждают меня. Ничего, кроме тупой боли в сердце.

Растет только у меня и у мамы, и у Бори озлобление против папы. Мы... мы теперь его обманываем. Родная дочь вместе с матерью обманываем родного отца и мужа, чтобы украсть от него лишнюю картошину. Господи, до чего мы дошли! Какой стыд! Какой ужас!

А всего ужаснее, что понимаю этот стыд не сердцем, а только умом. В сердце ничего не осталось, кроме озлобления к родному отцу.

Прихожу со службы и, пока еще раздеваюсь, Боря торопит меня. От нетерпения трясется лихорадочно. Худенькие плечи передергивает, а лицо совсем старческое. Бессвязно бормочет:

– Ну, Фея, скорей же, скорей...

Это значит, что мама сегодня продала что-нибудь и часть денег утаила. На украденные деньги купила два фунта картошки и фунт той же свеклы и сварила все это исключительно-

но для нас.

Скорее, скорее... Папа придет... Едим торопливо, воровски, с испуганными, нехорошими лицами. Ничего, у него лишние полфунта... Только Боря дрожит все сильнее.

Когда сделали это в первый раз, в глубине шевельнулся слабый стыд. Нехорошо, нехорошо же, нечестно. Разве он не голодный? Он еще так устает ходить за семь верст на работу. И как он страдает. Ведь все видит, все понимает. Господи, но ведь у него лишние полфунта, полфунта...

Но мы уже кончили есть. Ах, как мало! Больше, больше надо. Целую гору. Все с'едим.

Во второй, в третий раз ела без всяких угрызений совести. Только на мгновенье отчетливо блеснула страшная мысль:

– Мы все становимся зверями.

Да, но у него ведь лишние полфунта.

*17 июня.*

Как-то ослабевают память. Дома забываю, что было на службе, на службе забываю, что было дома. Почтамт – тусклое огромное пятно, и дом – тусклое огромное пятно, и оба эти пятна не сливаются...

Сегодня ехала на трамвае из почтамта и с усилием старалась вспомнить, что же такое хорошее меня ожидает дома? Напрягала, напрягала мысль и вдруг вспомнила:

– Ах, да, мама сегодня хотела что-то продать. Значит, у нас будет своя картошка. Поедим.

Папа как будто чувствует, что мы его обкрадываем, и все тщательнее учитывает маму. Но мама лжет превосходно, а я все-таки трясусь от страха, вдруг он догадается! Тогда уже не поедем лишней картошки.

Господи, не догадался бы только!

*18 июня.*

Кругом дома, как везде в Новой Деревне, у нас идет балкон. Сегодня, подходя к дому, заметила на балконе чью-то военную фуражку. Она показалась странно знакомой, но не могла сделать усилия вспомнить: чья она?

В доме, видно, заметили, что я вхожу. На ступени крыльца выбегает Борис и кричит:

– Фея, Фея, Сережа приехал, муки привез.

Вместо ответа я схватила его за плечи и яростно закричала:

– Зачем, зачем ты меня обманываешь?

– Ей богу, Фея, правда...

Я снова закричала, но уже другим криком. Оттолкнула Бориса и вбежала в комнату. Правда, правда. Сережа сидит у стола и как-то горько и мягко улыбается, смотря на меня.

– Сереженька.

Бросилась к нему. Судорожно схватила его за руки и заплакала. А он смотрит на меня и говорит ласково:

– Ну, поплачь, поплачь...

Мама глядит на меня и смеется. Боря тоже. Лица у всех

сияют. И у меня эти слезы – слезы радости.

Сережа жил два дня. Он ехал куда-то в командировку и заехал к нам. Муки привез немного: всего пятнадцать фунтов, и больше ничего. Но это не важно. Как всегда, его приезд всколыхнул меня до дна. Я с ним говорила без конца о всем: о службе, о Марусе, о Френеве. Два дня я интересовалась всем и жила полной жизнью.

*21 июня.*

Сережа уехал вчера.

Сразу все пошло по-прежнему. Муку с'ели еще пока он был с нами. В памяти эти два дня пронеслись как яркая кинематографическая лента, и опять все погасло.

Опять похлебка, опять украденная от папы картошка. Все по-старому.

*23 июня.*

Хлеб выдают с длинными перебойями. Зачастую томят по три-четыре дня без хлеба. А мы все продаем и продаем. Мама говорит, что скоро больше нечего будет продавать.

Как же, как же будем жить?

*25 июня.*

Чтобы добраться до почтамта, мне нужно полтора часа, да обратно столько же.

Из них на трамвай уходит всего двадцать минут. Но мучи-

тельно медленно, шаг за шагом, плетусь от дома до трамвайной остановки, а потом от Михайловской площади до почтамта. Прихожу разбитая, усталая до невозможности. А тут еще надо смеяться, шутить, а то подумают, что я голодная.

И чем дальше, тем труднее становится выдерживать себя. Если бы они знали! Какая мука отвечать такой же шуткой на их бессмысленные, глупые шутки. Ведь сердце болит. В голове пусто. В желудке – тоже.

А сегодня не выдержала. Голод сломал меня.

Пришла особенно усталая. Не могла даже поздороваться. Села за стол и сразу вся обмякла, обвисла. Закрыла глаза руками и положила голову на стол.

Вдруг слабо чувствую на затылке и на спине любопытные, недоумевающие взоры. На затылке даже зашевелился холодок от этих взоров. Наверное, ждут. Думают, что сейчас выкину какую-нибудь штуку. Пусть, пусть! Мне все равно.

Какая безграничная апатия и усталость охватывает меня! Все, все равно. Что это? Голос?

– Фейка, чего дурака валяешь? Работать надо.

Голос точно разрезает апатию и идет издали. Чувствую его как-то странно, точно в полусне. И, точно в полусне, чувствую, что медленно поднимаю голову и начинаю покачивать ею. И чужие, словно не свои слова:

– Хлеба, хлеба, хлеба, хлеба, хлеба...

– Фейка, не валяй же дурака!

– Хлеба, хлеба, хлеба, только маленький кусочек хлеба...

Кто-то тронул рукою за плечо. Смутно вижу золотистые волосы заведывающей.

– Довольно. Работать же надо.

И как-то сознаю, что надо же работать. И где-то, еще глубже шевелится стыд, что не удержалась, но голова все качается. Глаза не отрываются от золотистых волос:

– Хлеба, хлеба, только маленький кусочек хлеба...

Она махнула рукой, а я осталась сидеть с открытыми глазами. Смотрю в одну точку.

– Хлеба, маленький кусочек хлеба...

Потом смутно видела, что Маруська уходила куда-то. Не знаю, когда она опять пришла, но перед мною вдруг кусок хлеба.

Слышу эти слова и хочу что-то вспомнить. Хочу, и не вспоминается. Бессмысленно гляжу на хлеб.

– Фея, ешь.

Откусила кусок хлеба и сразу поняла все. Как тысяча мух, ползет по щекам горячая краска стыда. Встрепенулась, как уколотая. Испуганно смотрю на Марусю, но хлеб крепко зажала в руке.

– Ешь, ешь, ничего, ешь.

И глаза у ней тоже испуганные, но ласковые. И все еще шепчет еле слышно:

– Ничего, ничего, ешь, ешь...

Чувствую, что по щекам текут слезы. Господи, Господи, до чего я дошла? Как нищая, прошу кусок хлеба!

А тут еще рассерженный голос Елены Ильинишны:

– Комедиантка!

Этот голос и явный укор в нем почему-то не возмущают.

Но я мучительно вздрагиваю от строгого, возражающего заведывающей голоса Маруси:

– Так не притворяются.

Весь день не смела поднять головы, а домой шла с чувством, что в душе ничего не осталось.

Только – голод, голод и голод...

*27 июня.*

Хлебные перебои.

Нашей жалкой нормы не выдают четвертый день.

*28 июня.*

И сегодня папа хлеба не принес.

*29 июня.*

И сегодня нет. А папа свои полфунта получает.

*30 июня.*

Хлеба не выдают седьмой день. Каждый день похлебка, похлебка и то, что украдем от папы. Он регулярно получает свои бронированные полфунта, а мы? а мы?..

Сегодня едва дотащилась со службы от трамвайной остановки и сразу легла на кровать. Внутри огромная, серая пу-

стота. Но где-то глубоко в этой пустоте теплится смутная надежда, что сегодня-то, сегодня он принесет за все дни.

Звонок.

Встаю, шатаюсь. Неужели не принес? Неужели не принес? И вдруг цепенею от страшного, пронзительного голоса мамы, полного невыразимой голодной муки:

– Опять не принес. Что за анафемская у вас лавка! Скоро с голоду все подохнем!

И глухо слышен папин голос, злой, раздраженный, мучительный:

– Что ты кричишь? Разве я виноват? Я сам голодный. Только на полфунте сижу...

И сразу в страшном голосе мамы безграничная мука и отчаяние сменяются звериной злобой.

– У тебя хоть полфунта есть! Полфунта, полфунта, полфунта, а у нас и того нет!

Я слышу, как она с злобной отчетливостью бросает по слогам это «полфунта». Меня вдруг тоже захлестывает слепая, не рассуждающая злоба. Появляюсь неожиданно в дверях и бешено кричу в жалкое, растерянное лицо папы:

– Полфунта, полфунта, полфунта!.. Вам хорошо говорить! Лишних полфунта есть! Мы седьмой день ничего, ничего, ничего...

Я словно хочу выместить на нем всю накопившуюся голодную злобу. Слова так и сочатся жестокостью. Чувствую, какой страшной ненавистью горят глаза. А мама вдруг под-

хватывает еще с большим безумием:

– Полфунта, полфунта!.. Хорошо говорить!.. Мы седьмой день ничего, ничего, ничего...

У мамы такое страшное лицо и такие безумные глаза, что я, на миг поймав их, оцепенела. Что же это? Нехорошо, нехорошо. Ему же негде взять. Но это голос рассудка, а не сердца. Нисколько, нисколько не жаль его!

А он стоит перед нами и смотрит, как затравленный зверь. Тусклая мука светится в впалых глазах. Конвульсии искажают серое, исхудалое лицо. Вот мелькнули в глазах какие-то гневные, острые искры и опять погасли. И опять в них только мука и страдание.

Озирается. Обводит, как загнанное животное, мучительным взглядом жену и дочь и, вдруг как-то странно махнув рукой, садится на стул, и опускает на руки голову...

Тоже озираясь на него, мама идет на кухню, чтобы принести несчастную похлебку.

Как я ненавижу, как ненавижу его за эти полфунта!

*1 июля.*

А папа хлеба не принес и сегодня. Опять повторилась вчерашняя сцена.

*2 июля.*

Хлеба нет и сегодня.

*3 июля.*

Тоже нет.

*4 июля.*

Сегодня папа сказал, что хлеб будет завтра. Свои бронированные полфунта он получает каждый день. Часть с'едает еще в заводе, а остаток приносит домой.

Но ни с кем не делится, а с'едает за похлебкой.

*5 июля.*

Неправда... Сегодня тоже хлеба не принес.

Мы уже не набросились на него с яростным исступлением, а только молча спросила глазами. Так же молча он ответил тусклым, страдальческим взглядом: «нет». И что-то вроде благодарности мелькнуло у него в этом взгляде, за то, что мы не мучим его. Он не знает, что у нас нет сил для этого.

Сели хлебать все ту же несчастную похлебку. Как всегда, папа вынимает из кармана маленький кусочек хлебца. Это остаток от несчастного полфунта. Удивляюсь, как он может терпеть и не с'есть сразу. Вот эгоист-то! Даже для себя эгоист.

И без того маленький кусочек тщательно режет на еще меньшие части. Потом каждую часть густо посыпает солью. Так солоно он никогда не ел раньше. Чтобы побольше выпить кипятку. Тогда в желудке будет полно.

Нарезал, посолил и разложил перед собою. А Боря не мо-

жет удержаться и скользит по кусочкам голодными глазами.

Милый, мужественный мальчик! Он еще находит силы отвернуться. Как же! Это ведь папины полфунта. Просить бесполезно. Но он не может удержать слез. Медленно они точатся из глаз.

И вдруг папа молча кладет один кусочек перед Борей.

Положил и избегает смотреть на Бору и на нас. Опустил глаза на остальные кусочки и тщательно уминает пальцем на них соль. Потом усиленно жует хлеб. Но как странно вздрагивают и топорщатся усы на нижней губе! Господи, какие они стали редкие!.. Мокрые, слиплись. И совсем мало волос. А губы совсем бескровные и лицо бледное, сухое, и все в морщинах. А на висках-то, на висках-то! Где же папины волосы? А руки? – страшно взглянуть... А глаза?.. Господи, Господи, бедный папа...

Милый папа, как его жаль. Он Боре дал кусочек хлеба. Ведь он же добрый. Только у него нет.

А Боря, избегая смотреть на кусочек, взял его и бессильно замигал полными слез глазами. Мама говорит дрожащим голосом:

– Ну, ну, не плачь, папа ведь дал...

Все молчим. От нас тянется к папе что-то невидимое и хорошее.

*6 июля.*

Митя и Тонька ни разу еще не бывали у нас на новой квар-

тире.

Если встречу Митю в почтамте, он смотрит на меня, как на пустое место. Никогда не подойдет поздороваться первым. Никогда не поинтересуется узнать, как мы страдаем и мучимся. А я знаю, что сами они живут хорошо. Почти каждый день едят мясо. Обидно и горько такое отношение. Пусть бы не помогали, но разве капельку участия нельзя уделить?

Но еще больнее встречаться с Тонькой. Эта – совсем чужая. И притом она – дрянной, злой человек. Великолепно знает, как мы голодаем, а встретится, сейчас же начинает рассказывать, как хорошо они живут сами. Пересчитывает за целую неделю каждое блюдо за обедами. Хвалится новыми платьями, ботинками и спрашивает меня, когда мне сделают ботинки, а то у меня совсем разлезаются.

Поднимается нестерпимое желание избить ее до полусмерти. Ударить прямо в ее вытянутый длинный нос и в наглые глаза. Но молчу, стиснув зубы.

А иногда на ее вопрос, как мы живем, отвечаю с веселым видом:

– Ничего. Ваня посылку прислал.

И бывают же такие люди!

*9 июля.*

Появилось странное ощущение физической легкости.

Чаще всего бывает по утрам. Когда оно не сопровождается

ся головокружением, то делается почти приятно. Совсем не надо усилий, чтобы двигать ногами. Иду по мостовой и не замечаю, что наступаю на неровные камни. Как будто ступаю по пуху или прямо по воздуху. И грудь тогда расширяется, и сердце чувствуется огромное, огромное, но легкое, как воздушный шар.

И приятнее всего то, что я могу вызывать это, когда захочу. Стоит только закрыть глаза и три-четыре раза глубоко вздохнуть, легкость тотчас же появится. Тогда нельзя уже думать ни о чем.

Но иногда оно сопровождается головокружением и приходится сразу садиться. Раз я попробовала лечь в кровать, но кровать как-будто поплыла, и появилась тошнота.

*11 июля.*

Все чаще к нам заходит Александр. Робкий, худой, бледный и глаза страшные, голодные. Голодный приходит к голодному, чтобы поесть.

И мама никогда не оттолкнет его, всегда посадит обедать. Но только одна мама. Папа косится и смотрит хмуро на то, как Александр ест похлебку. А Александр бесконечно рад и похлебке.

Но я стала еще хуже, еще черствее папы. Прекрасно вижу, отчего хмурится папа и ненавижу его за это. Он... он готов уморить родного сына. Эгоист, эгоист, а еще отец!..

И все же сама с Александром поступаю так же, если еще

не хуже. И как-то в одно время и жаль его, и вспыхивает бешеная ненависть за то, что приходит и отнимает от меня лишний глоток несчастной похлебки. Я не смею поднять на Александра глаз и держу их опущенными в тарелку, но все время ворчу так, чтобы он слышал:

– Господи, вот бывают люди какие! И так есть нечего, а тут еще...

Не смею договорить, потому что знаю, как больно Александру. Пусть он делает вид, что не смотрит на меня, не слышит, не понимает. Но я чувствую, как он сгорает от боли, стыда и обиды. Даже ложка пляшет в руке. Но голод сильнее. Он ест торопливо, испуганный и жалкий.

За последнее время Александр повадился ходить чуть ли не каждый день. Видно, что он заживо умирает от голода. Я понимаю это, но не могу переломить себя и... не стала с ним здороваться. Отношусь к нему все хуже и хуже.

Вчера он пришел робкий и жалкий, как всегда. Сделал убогую попытку протянуть мне руку. Я прошла мимо, как будто не заметила.

А сегодня... сегодня скажу ему открыто, что так дольше продолжаться не может. Стыдно с его стороны об'едать и без того голодных. Мы сами умираем медленной смертью.

И он пришел.

Не смея поднять глаз, прошла мимо него на кухню, где была мама и возмущенно закричала:

Неужели, неужели опять пришел?

Мама, конечно, всегда чувствует наше недовольство Александром и страдает и за нас, и за Александра. Я и папа хмуримся и ворчим, а она виновато молчит и не смеет вступиться. Но сейчас она решается возразить и все с таким же виноватым лицом:

– Ну, не кричи ты, Господи. Ну, куда же ему итти?

– Нет, нет, нет, это невозможно. Он так будет ходить каждый день.

– Да замолчала бы ты, ради Бога.

– Не хочу молчать, не хочу, если люди не понимают!

Александр неожиданно появился в дверях. С каким невыразимым страданием в тупом лице глядит он на меня! Как ножом полоснуло по сердцу.

Не сказала больше ни слова и прошла в столовую.

Александр все же сел обедать.

*13 июля.*

Сегодня проснулась и вдруг перед глазами замелькали красные, синие, зеленые пятна.

Испуганно закричала:

– Ой, мамочка, у меня глаза испортились... синее, зеленое... красное...

Закрыла глаза, и опять – пятна. Вновь открыла – пятна стали бледнее.

А мама успокаивает:

– Ну, дурочка, это оттого, что в канцелярии при огне за-

нимаешься.

Верно: пятна скоро исчезли, но в этот день я испытывала такое сильное головокружение, как никогда.

*15 июля.*

Получила жалованье.

Обыкновенно в день получки является в почтамт и даже прямо к нам в канцелярию несметное количество лепешниц и пирожниц. Они знают, что все мы не особенно сыты и каждая при получке купит лепешку-другую, а то и пирожное. Но я никогда не покупала. Не покупаю и сегодня.

– Фейка, а ты что не покупаешь?

Но как же я куплю? Ведь я украду от мамы и Бори. Они ведь тоже голодные. А есть хочется мучительно. Ишь, буржуйки, пришли сюда с пирожными. Только мучат.

Страшно боюсь, чтобы меня не выдало лицо:

– О нет, я принципиально не покупаю лепешек от уличных торговков.

– Почему же?

– Знаете, очень негигиенично. Бог знает, в каких руках они перебивали.

Я строю презрительную гримасу. И это мне удастся легко. Только гримаса несколько иная, – гримаса голода... Ничего... у нас в канцелярии не разберут, может быть, за исключением Маруси. Но она деликатна.

Домой нужно итти все-таки мимо целого строя пирожниц

и лепешниц. Лепешки толстые, вкусные. Я больше не могу, не могу. Как хочется есть! А что, если я куплю одну? Только одну: дома не узнают. Скажу, что высчитали в союз. Только одну, одну. Вот эту толстую...

Пройду шаг – остановлюсь. В глаза бросится особенно толстая и выгодная лепешка. Рука лихорадочно задрожит и потянется в карман за деньгами. Во рту отделяются слюни. Но насильно отрываю себя. Ведь мама, Боря голодные... С усилием делаю шаг вперед. Но еще лепешница, и опять особенно толстая и выгодная лепешка. Еще выгоднее той. Как хочется есть!

Куплю, куплю...

Останавливаюсь и сразу нахожу глазами самую большую лепешку. Уже подаю деньги и вдруг опять:

– А мама? А Боря? Что я скажу им? Ведь они тоже голодные... Господи, неужели я такая, как папа?

Быстро прячу деньги и иду прочь. Изумленная торговка кричит вслед:

– Барышня, барышня, аль не хотите?.. Возьмите... вкусные лепешки... лучше не найдете...

Скорее, скорее домой.

*17 июля.*

Я как-то вошла в глубокую колею ужаса, в котором живу. Больше уже ничто не ужасает. Становится безразличным, что будет впереди. Наверное, придется умирать скоро.

Вчера опять увидела на стене ползущего тощего клопа. И не задрожала, как несколько недель тому назад. А спокойно сбросила со стены и раздавила ногой.

– Так, наверное, будет и с нами... Ну, что же? Не все ли равно?

*19 июля.*

Бесконечно усталая, сегодня ехала в переполненном вагоне трамвая. Пришлось стоять.

Напротив, развалившись и выпятив вперед толстый живот, сидел какой-то человек. Сразу не влюбила его лоснящееся не интеллигентное лицо, противные волосы с проседью и отвратительную черную бороду. Особенно эти маслянистые глаза. Так и обшаривают каждую женщину с головы до ног. Гляжу на него с ненавистью. Ишь, жирный какой. И живот толстый. От'елся. А жена у него с рыбьим лицом и худая. Живот тоже большой и пахнет потом от живота.

Смотрю, а человек вдруг начал двоиться... Фу, Господи, что это такое? Два носа и три глаза? И глаза ушли в глубину, сделались большие и смотрят на меня словно из тумана.

Замотала головой, чтобы стряхнуть с себя этот призрак, а глаз уже четыре, и два средних сливаются в один продолговатый... Что же это? что же?

Испугалась и стала протискиваться на площадку, а человек недовольно посмотрел мне вслед.

*21 июля.*

Опять замечаю, что появляется внезапная ненависть к незнакомым людям. А у меня что в душе, то и на лице. Ненависть сейчас замечают. Странно смотреть, как появляется полуиспуганное, полуудивленное выражение. Человек пугливо вздернет плечами, посмотрит с недоумением и поспешно проходит мимо.

Что же это со мной происходит?

*23 июля.*

Сегодня, когда уходила утром на службу, меня приласкала мама:

– Бедная ты моя, на себя стала непохожа.

Тотчас же бросилась к зеркалу. Совершенно белое, без кровинки лицо. Но похудела мало. Только слегка выдаются височные кости.

Потом лицо скрылось в тумане и оттого стало невыразимо жаль себя. Бедная я, бедная я, бедная я!.. Господи, наверное умру!..

Шла до трамвайной остановки и плакала. Ехала в трамвае и плакала.

*25 июля.*

За последнее время просыпаюсь среди ночи и часто плачу. Иногда уже и просыпаюсь с глазами, полными слез.

В такие минуты почему-то ярко припоминаются все ме-

лочи нашей ужасной жизни. День за днем тянется вся жизнь. Бледные, худые проходят папа, мама, Боря, я сама. И на них, и на себя я гляжу будто со стороны. Сравниваю, какими мы были месяц назад и какими стали теперь. И ужас, какого уже не бывает днем, охватывает меня. Судорожно стискиваю подушку зубами и стараюсь заснуть. А сна нет и нет. В комнате темно. Слышно, как во сне вздыхает папа, мучительно застонет Боря, забормочет мама...

Потом наступает рассвет, потом день. Надо подниматься и идти на службу. Сквозь прикрытые ресницы видела, как поднимался папа. Какой он страшный в одном белье! Белая рубашка и белое, измятое со сна, лицо. Глаза впали глубоко и совершенно без всякого блеска... мертвые. Но он расстегивает ворот рубашки, снимает ее и начинает ловить вшей. Господи, совершенный скелет! Странно-белые, круглые, без мускулов, тонкие-тонкие руки. А к ним как-будто приделаны грязные и темные, широкие, как лопаты, кисти... Даже и на руки не похоже. До чего он исхудал! Хоть бы глаза закрыть! Не видеть!

А глаза не закрываются. Смотрю, как прикованная, и боюсь пошевелиться.

Он ушел. Теперь по сонным, тихим комнатам ходит усталыми шагами мама. Она готовит кипяток. Зачем? Ведь, все равно, хлеба нет. Неужели пить пустой?

Потом потянется день, и, наконец, наступает страшный вечер. Вечер страшнее всего. В комнате тихо. Папа лежит,

мама лежит, и я и Боря лежим. Электричество боимся выключить. Блестящая лампочка сияет под потолком. И знаю, каждый лежит, смотрит на эту сияющую лампочку, и о чем-то думает, и медленно умирает. Иногда зазвенит в тишине и в электрическом свете тонкий, прячущийся плач Бори. Никто не утешает. Ни у кого нет сил.

А прекратится ток, – в темноте лежать еще страшнее. Страшно оттого, что знаю: каждый лежит в своем углу и не спит. Каждый лежит в своем углу и умирает. И нет никому до другого никакого дела.

Потом появляется надежда, что, наконец, все уснули. И вдруг в тишине папин мучительный голос:

– Мать, может, еще что можно продать?

Не сразу отзывается мамин голос из другого угла. Проходит минута, другая. Тишина и темнота в комнате как-будто напрягаются, и вот вздрагивает и ползет по темноте мамин страшный шопот:

– Да что еще? Голову свою продать, что ли?

Опять пройдут минута, две, три, и плеснется папин вздох безнадежный, глухой:

– Ох, Господи!..

Только во время обеда, за нашей несчастной похлебкой, мы еще немного живем. Высказываются общие тревоги и опасения. Но скоро не будет и этой похлебки. Значит... значит придется умирать. Не все ли равно!

*27 июля.*

Что это значит?

Папа сегодня пришел с веселым лицом и, не раздеваясь, остановился посередине комнаты и вытащил газету.

– Ну, мать, радуйся!

Измученным голосом мама спрашивает:

– Что?

И я спрашиваю тоже:

– Что? Что такое?

– Радуйтесь! Вышло разрешение свободного провоза рабочим. Ты, мать, поедешь в деревню и привезешь нам хлеба.

Хлеба, хлеба, хлеба! О, Господи! В деревне у нас еще лежит четыре пуда... Но как поедет мама? Она, бедная, похудела больше всех. Она не доедет. Свалится в вагоне. Пусть едет сам.

Но мама радостно крестится.

– Ну, слава тебе, Господи!

Папа громко прочитывает напечатанное в газете распоряжение. Мы все жадно слушаем. Папа еще раз настаивает, чтобы поехала мама, а я гляжу на его радостное лицо и думаю:

– Эгоист, эгоист, эгоист!.. И тут эгоист! Мама слабее его и может в вагоне свалиться и умереть.

*29 июля.*

Мама уехала сегодня в мое отсутствие, пока я была на службе. Я никак не ожидала, что это случится так скоро.

Прихожу, как всегда, в шестом часу домой и сразу вижу: в квартире полнейший беспорядок. А главное, на столе брошены три лепешки, и они какие-то необычайно толстые.

– Боря, почему это?

– Уехала мамочка...

Глаза у него мигают, нижняя губа дрожит. Сейчас расплачется. Ему страшно оставаться с папой.

Все это ясно читается на его исхудалом личике. Недаром он так тесно прижимается ко мне, словно ищет у меня защиты против папы. Бедный, бедный мальчик! Сиротинка. Я... я не позволю тебе, эгоист, обижать его...

А вечером эгоист пришел и принес двадцать фунтов картошки. Разложил на полу и тщательно делит на десять ровных кучек. Исхудалое лицо озабочено. По два раза пересчитал картошины в каждой кучке и подсчитал общий итог. Поднимает с полу на меня глаза и говорит угрожающе:

– Смотри, чтобы хватило на 10 дней.

Одну кучку отодвигает в сторону. Она приготовлена для завтрашнего дня. Остальные девять куда-то прячет. У меня взгляд настороженный, злобный. Он не замечает. Подсчитал и говорит приветливо:

– Ну, вот, мама уехала, будем одни поживать.

И вдруг замечает мой злобный взгляд. Сразу тухнет в голосе и в глазах приветливость. Grimаса страдания перебега-

ет по желто-белому, измятому, как тряпка, лицу. Медленно поднялся и идет в другую комнату. Борис, и тот провожает его испуганными, жалкими глазами. И все тесней прижимается ко мне. Я целую его и плачу сама, провожая папу злобным, настороженным взглядом.

*31 июля.*

Странно мы теперь живем. Папа – сам по себе, мы – сами по себе. Ничто нас не связывает. Напротив, очень многое раз'единяет. Мы совсем чужие...

А сердце ноет и болит за маму. Мама, наверное, упала в вагоне, ей худо, и повезли в больницу. Она уже умирает.

И Боря встревожен. Каждый час, каждую минуту он следит за выражением моего лица. Я спокойна – и он спокоен, я плачу – и он плачет. Сегодня утром он вдруг спросил меня:

– Ой, Феечка, а если мама умерла?

И смотрит на меня испуганными глазами.

От этого вопроса, от его испуганных глаз сердце так и задрожало. Едва справилась с собой и отвечаю спокойно:

– Ну, глупости, – она, наверное, уже скоро приедет.

А вечером у самой прорвалось. Весь день думала о маме и к вечеру вдруг разрыдалась, как безумная. Борис подходит, прижимается и говорит неожиданно:

– Феечка, не плачь. Я знаю, отчего ты плачешь. Ты думаешь, что мама умерла.

– Нет, нет, Борис, просто так тяжело. Есть хочется.

А он повторяет тихо и настойчиво, и прижимается все теснее:

– Нет, нет, я знаю. Ты думаешь, что мама умерла. Не плачь, я знаю, что мы сделаем...

Сквозь слезы целую, прижимаю его и спрашиваю:

– А что, Боренька, а что?

– Мы тоже умрем, Феечка, не надо плакать.

И правда выход!.. Как же раньше-то я не подумала? Раз она умрет, то и мы умрем. Вот и все.

Говорю ему обрадованно:

– Верно, верно, Боренька, только придумай, как мы умрем.

– Я уже придумал. Мы с тобой в Неву бросимся. Тут близко. Только вместе.

– А папа как?

– А папа, наверное, будет жить.

У Бори тон серьезный. Измученные, детские глаза смотрят деловито. Он, он давно все обдумал. Вот молодец-то! Не как я – только плачу.

И вдруг в голову приходят мысли о Сереже, Ване, Шуре. Как же, как же они-то?.. Но Боря, наверное, знает как.

Спрашиваю робко его:

– А Сережа, Ваня, Шура?

И Боря уверенно отвечает. Вижу, что он передумал все тысячу раз.

– Ну, что ж, им будет тяжело, но они взрослые, а мы ма-

ленькие. Они могут прожить без нас. Ваня, наверное, поплачет, ну а Сережа поймет. Он умный.

Как он все верно говорит! Да, да, я напишу Сереже, и он не рассердится. Он не должен будет сердиться. Он все поймет...

*1 августа.*

За Борю все больше появляется какая-то злая настороженность. Смертельно боюсь, что папа будет морить его голодом. Но пусть он только попробует, тогда я... я...

А иногда у самой прорывается против Бори всегдашнее мое беспричинное озлобление. Накричу на него, затопаю ногами. А он даже не огрызнется, не как было раньше. Только замигает большими измученными глазами, да задрожит нижняя губенка.

И сразу вспыхнет жгучее раскаяние. Целую его, плачу.

– Боренька, Боренька, прости меня, прости...

Он опять прижимается ко мне и сквозь слезы отвечает:

– Я, Феечка, и не сержусь. Я знаю... ты голодная, и мама уехала.

Так как теперь Боря почти до вечера лишен чаю, потому что остается дома один, папа каждый день дает ему полтинник. Боря ходит в ближайшую советскую чайную и пьет кипяток. Дают еще конфекту одну.

Но сегодня пришла со службы, и бросилось в глаза, что с Борей неладно. Какое-то особенно истомленное лицо. Даже

губы ссохлись.

Спрашиваю:

– Что с тобой?

И, конечно, он замигал и со слезами в голосе:

– Я... я сегодня чаю не пил.

Сразу обострилась против папы злая настороженность.

Нехорошие предчувствия заметались в сердце.

– Почему?

– Па... па ска... зал, что не будет больше давать денег. Он сказал, что я не ахти сколько чаю выпью, и трачу деньги только на конфекты. Он сказал, что это лишний расход, и что я могу подождать, пока все не придут...

Слушаю его рыдания и ушам не верю. Даже не ненависть вспыхнула, а огромное, страшное бешенство. Ужас, ужас! Как он смел ребенку не дать полтинника на кипяток! Изверг, настоящий изверг! Так бы собственными руками и разорвала на куски! Вцепилась бы в шею, в глаза, во все, во все...

– Боренька, Боренька, не плачь. Я буду с ним говорить. Я ему скажу. Это чорт знает, что такое! Я ему не позволю, не позволю...

Ожидая его, почти два часа бегаю по комнате. И все внутри кипит, кипит... Скорей бы только он пришел!

Звонок.

Еще он не успел раздеться, а я кричу ему прямо в лицо со всей своей невыразимой злобой:

– Вы... Вы почему ему не оставили на кипяток?

Он весь вздрогнул тихо. Страшное, страшное перебежало по лицу. Потом овладел собой. С угрюмым лицом покосился исподлобья, поверх очков.

– Потому, что это – зря. Все равно кипяток он не пьет. Ему нужна только конфекта... Не умрет. Может и нас дожидаться.

– Я... я удивляюсь вам... Как не стыдно, не стыдно, не стыдно?.. Вы были бы рады, если бы мы совсем умерли!.. Да, да, да...

Папа ошеломлен. Прилип ко мне страшными, неподвижными глазами, бескровные, серые губы дергаются и мучительно шевелятся морщины над переносицей.

Потом вдруг как стукнет кулаком по столу:

– Да как ты смеешь таким тоном разговаривать со мной? Не смей! Замолчи!

Теперь я на секунду ошеломлена, но не испугана. Сжалась вся в комок, точно готова броситься на него. И вдруг опять затряслась от нового порыва бешеной злобы. Выкрикиваю, как безумная, и еще громче его:

– Да, да, вот и смею, смею говорить! Что хочу, то и смею, раз вы так поступаете! Не любите, не любите правды?

А у него порыв схлынул. Опять смотрит не то с недоумением, не то с испугом.

– ...Да, да, не любите... Недаром мы с Борисом предчувствовали, что без мамы от вас... вас житья не будет!..

– Ах, Господи!..

Замерла с незакрывшимся ртом. Что это, что это я ему

сказала? Неужели он зверь для своих детей? Неужели, неужели?.. Ах, какая я жестокая...

Вижу, как у папы исказилось бледное лицо и конвульсивно дергается подбородок. Ничего больше не сказал.

Но на следующий день оставил Борису несчастный полтинник.

*2 августа.*

Еще одна странность.

Когда Александр ходил к нам при маме, и мама сажала его обедать с нами, я с бешенством считала каждую ложку съеденной им похлебки. И папа был на моей стороне. Я это знала.

А теперь?

Он приходит и теперь. Какое у него страшное от голода лицо. Он, наверное, голодает больше нас. Тревожно, робко смотрит по углам. Наверное думает, что раз мамы нет, его никто из нас не посадит обедать.

Сегодня он тоже пришел. Я всю душу вложила, чтобы сердечно с ним поздороваться. Даже его поразила, а сама чуть не заплакала. Но папа бросил угрюмо:

– Здравствуй.

Александр посмотрел на него жалко, умоляюще и, согнув плечи, ушел в другую комнату. Он знает, что без мамы нечего ждать, чтобы его пригласили обедать.

Но я собрала на стол и кричу:

– Шура, иди обедать!

Закричала и вся насторожилась... Что он сейчас скажет?

Пусть... Все равно, Александр будет обедать.

А папа вскинул на меня изумленные, встревоженные глаза и шепчет зло:

– Ты что? С ума сошла, что ли?

Я твердо выдерживаю его взор и, не отводя глаз, продолжаю звать еще настойчивее:

– Шура, иди обедать!

Почти с минуту мы прикованы друг к другу глазами. И в сердце одно торжество. Вот, вот тебе, эгоист!.. Не будешь морить родного сына голодом. Он и без того несчастный. Бедный Александр!..

Наконец, папа прячет свои глаза. Он уже не глядит и на Александра, когда тот пришел обедать.

*3 августа.*

Александр пришел и сегодня.

Встретила его так же сердечно, как и вчера. Он чувствует это. Сел обедать увереннее. Пообедал и сейчас собирается уходить. Но слышу, задержался почему-то на кухне.

Папа по обыкновению лежит в спальне. Я и Боря сидим на диване, прижавшись друг к другу.

И вдруг сердце вздрагивает от необъяснимого, ужасного предчувствия. Сразу устанавливается знакомая настороженность. Только не могу понять, по отношению к чему она...

Господи, что это, что сейчас случится? Задрожала вся. Прислушиваюсь к себе. Ах, это Александр, Александр!.. Он что-то делает на кухне. Он хочет что-то взять от нас! Взять, взять!.. А с кухни не слышно ни звука.

Судорожно оттолкнула испуганного Бориса и стремглав, с замирающим сердцем, несусь на кухню.

Влетела. Он стоит у стола и странно уставился на меня.

Подскочила к нему с безумным, пронзительным криком:

– Ты что здесь делаешь? Что, что, что?

И он смутился. Господи, значит правда, правда!.. Но что, что он мог взять у нас? Что же такое он отнимает у нас?

И вдруг вспомнила, что под столом было два фунта картошки, приготовленной на завтра. Бросилась к столу – картошки нет.

– Украл он...

Звериным прыжком кинулась к нему.

– Отдай, отдай нашу картошку, отдай, несчастный!..

А он как будто окостенел бледным, без кровинки лицом. Страшное напряжение все больше сдвигает брови. Смутно бросилось в глаза, что мизинец на левой руке у него дрожит мелкой дрожью. Губы шевелятся от усилия что-то сказать. Наконец, бормочет:

– Я... я не брал вашу картошку.

Но у меня же страшная, жестокая, огромная уверенность, что он взял. Вою бессмысленно, как зверь:

– Отдай, отдай, отдай, отдай же...

Его лицо искажается все страшнее. Конвульсивное напряжение борется с упорством. Вот упорство установилось. Сердце у меня оборвалось. Вою все бессмысленнее:

– Отдай, отдай, отдай, отдай же...

И вдруг новый прилив бешенства. А! Он украл от голодных! Он, он...

Как разоренная кошка, бросилась к нему и вцепилась до боли в пальцах в его костлявые, твердые плечи.

– Папа, папа, идите же сюда! Александр украл нашу картошку... Скорей, скорей! Уйдет! Отдай, вор несчастный, нашу картошку! Отдай!

Папа прибежал в одном белье, – тощий, худой, страшный, с перекосившимся лицом.

Держу Александра за плечи и кричу папе:

– Папа, папа, он украл нашу картошку! Отнимите! Не отдает он!

Белая фигура папы искривилась. Он трясет оголенными, круглыми, тонкими руками, с огромными кулаками на концах. Даже грязные пальцы на босых ногах искривились и будто впились в пол:

– Мерзавец, отдай сейчас же нашу картошку!

А я кричу еще его громче:

– Папа, папа, я держу его! Обыщите скорее! Скорей, скорей!

Александр озирается, как затравленный зверь, и встречает звериную ненависть. Напряженное упорство в лице лома-

ется. Оно делается жалким. Вдруг медленно вынимает одну за другой картошины из карманов и шепчет еле слышно дрожащими губами:

– Натe, нате, нате...

Повернулся и, с'ежившись, медленно ушел.

Папа даже не проводил его взглядом. Жадно согнувшись, тощий, длинный, весь в белом, он пересчитывает картошины. Потом заботливо прячет их и, уходя, бросает мне:

– Эх, ты, розиня! Так все перетаскает!

А я осталась окаменевшая посередине кухни. Что же я наделала? Ведь он голодный. Голоднее, чем мы. Надо бы отдать... Отдать? А завтра что будем есть? А Борис?

Стою точно в столбняке, и мысли, обжигающие до глубины, проносятся в мозгу. Вдруг все смело, и хлынули бессильные слезы.

Какая, какая я!..

*4 августа.*

Сегодня от мамы получено первое письмо.

Слава Богу! А то все дни болело сердце: почему она не пишет? Наверное, уже умерла... Неужели такие бессердечные люди, что не известили нас?

И ясно, как в кинематографе, рисуется мама мертвая. Еду в трамвае, а передо мной мертвая мама, с застывшим, белым, холодным лицом. По улице иду – то же. И чувствую, что слезы бегут по щекам. Смутно понимаю, что публика останав-

ливается и обращает внимание.

А на службе Маруська, заглянув в глаза, тоже сердечно спрашивает:

– Еще нет?

– Нет.

Сегодня письмо пришло. Мама пишет, что доехала благополучно и уже послала нам вместе с письмом хлебную посылку. Надеется привезти сухарей, крупы и пуда два муки. Скоро выезжает.

Я и Боря, и даже папа, двадцать раз перечитываем письмо.

Вечером ели несчастную похлебку. Вдруг моя ложка застыла в воздухе. Поглядела на эту похлебку со странным, радостным чувством:

– Скоро тебя не будет!

А папа поглядел на меня и тоже улыбнулся.

Заулыбался счастливо и Боря.

*6 августа.*

После того, как от мамы получено письмо, за нее я спокойна. Верю, что с ней ничего не случится, что она скоро приедет.

В ожидании посылки, вчера сидела на службе бодрая и радостная, и вдруг в голову пришла ужасная мысль:

– Господи, а как Боря сидит один-одинешенек дома? Ведь... ведь он может утонуть. Ведь он хотел! А вдруг сойдет с ума... Да, да, с ним сегодня обязательно что-нибудь

случится!

Заныло сердце от страшных предчувствий. Не могу работать. Сажу, и глаза застилает туманом. А в тумане рисуется яркий, худенький, бледный Боря. Бежит к Неве. Добежал. Постоял с минутку, подумал. Замигал жалко, жалко и вдруг – бух вниз головой.

Не выдержала и отпросилась со службы пораньше. Летела домой, как на крыльях. Когда позвонила, то чуть не разразилась слезами, услышав за дверью его слабый голосок. Но сдержала себя и равнодушно спрашиваю его:

– Ну, как ты?

– Ничего, Феечка, наверное, скоро мама придет.

И сегодня утром собираюсь на службу, и опять сердце заныло страшно. Нет, не могу идти. С ним, наверное, что-нибудь случится. Не пойду.

Осталась дома. Все время ни на шаг не отпускаю его от себя. В двенадцать часов сама собрала его в детскую столовую за обедом, дала котелок и вышла проводить до ворот.

Говорю, как мать:

– Ну, Боренька, иди с Богом!

Перекрестила его и стою у ворот. Смотрю ему вслед.

Он слабо помахивает котелочком в руке и тихо идет вдоль забора. И рядом с ним по забору тихо идет тоненькая тень... И вдруг я судорожно ухватилась рукой за ворота.

Какой он худенький, бледный! Только теперь я вижу это. Страшно, страшно и больно в сердце. Идет, и головка мота-

ется на тоненькой шейке. И плечико худенькое, остренькое, выше другого. Ножки совсем, как палочки. Господи, вот бедный, несчастный ребенок! Ведь он тает, тает на моих глазах. Он так не дойдет и до столовой. Вон какая тоненькая тень. Упадет где-нибудь... На улице умрет.

Трясусь, как в лихорадке и жду его возвращения.

Жду, жду, жду.

Да что же это так долго? Упал, упал, конечно... умер. Сейчас побегу искать, искать...

Но вдали – маленькая фигурка. Бросаюсь навстречу. Обнимаю, целую, плачу.

– Боренька, Боренька, да что же ты так долго? Что с тобой случилось?

Он поднял свое старческое, не по-детски сморщенное личико. Говорит встревоженно:

– Ничего, Фея, не долго. Я всегда так...

– Да нет, нет, ты долго... Что с тобой...

Не договорила, потому что Боря смотрит на меня странно, и со слезами на глазах:

– Феечка, я тебя очень люблю. Ты... ты не бойся, я теперь уже не брошусь в Неву. Мама скоро приедет.

Перед приходом папы стала варить картофель. Как всегда, по примеру мамы, украла от двух фунтов одну картошину. Мы каждый день делаем это. Режем сырую на тоненькие ломтики и жарим прямо на плите, поскорее, чтобы не пришел папа, и с'едаем пополам всегда.

А сегодня отдаю картошину целиком:

– На, Боренька, кушай.

И опять он смотрит давешним взглядом. Даже такие же слезы в опущенных к полу глазах. Говорит почти шепотом:

– Нет, Феечка, я не буду без тебя.

*7 августа.*

Наконец, сегодня получена посылка.

Мама послала ее на мое имя, на почтамт. Получила на службе и принесла в канцелярию.

Сразу же окружили все наши:

– Фейка, Фейка, с чем она?

– Наверное, с пирогами!

– Нет, кажется, с маслом.

– Фейка, вскрой же!

А у меня вдруг пробудилась жадность. Как же! Если вскрою, надо угощать всех. Самим мало останется. Раньше я не была такая. Когда мама приехала из деревни, угощала Лельку сухарями, даже сама предложила. А теперь стала жадная.

Говорю небрежно:

– Ну, какие там пироги и масло. Просто, хлеб печеный, и больше ничего...

Отпросилась от службы и поскорее домой.

Еще только вхожу во двор, а кричу уже в отворенное окно:

– Борь, Борь, иди встречать! Посылка!

Не успела раздеться, а Боря, сразу порозовевший, взрезает холст и бормочет под нос:

– Ой, Фея, Фея, как хочется поскорее!

В посылке три хлебца. Один совсем маленький, другой – побольше, а третий – еще больше. Лукаво смотрю на Бориса и говорю:

– Это мама нарочно так сделала. Самый большой – папе, поменьше – мне, а самый маленький – тебе.

А он еще лукавее возражает:

– Нет, Фея, это просто так испеклось.

Разрезали самый маленький хлебец на три ровных части и с'ели. Папина часть осталась и смотрит на меня, а я на нее.

Искоса взглядываю на Борю, а он уже приготовился и сразу поймал мой взор. Он смущенный, и я смущенная.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.